

Дан Динер

Круговороты

Национал-социализм

и память



Дан Динер

Круговороты
Национал-социализм
и память

Dan Diner

Kreisläufe

Nationalsozialismus
und Gedächtnis

Berlin Verlag
1995

Дан Динер

Круговороты
Национал-социализм
и память



МОСКВА
РОССПЭН
2010

УДК 323.14
ББК 66.1(0)
Д44

Перевод с немецкого языка *А. А. Панова*

Динер Д.

Д44 Круговороты. Национал-социализм и память / Дан Динер ; [пер. с нем. А. А. Панова]. — М. : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. — 112 с.

ISBN 978-5-8243-1370-3

Центральный вопрос этой книги: как история сохраняется в памяти, что становится воспоминанием? Многие события, о которых не хотелось бы вспоминать, вычеркиваются из памяти; другие уже через короткое время представляются в ином, лучшем свете. Это касается не только отдельных людей, но и коллективов и групп — будь то государств, этнических групп или поколений.

Автор показывает, какое влияние оказал национал-социализм на формирование коллективной идентичности в Германии. Речь идет о феномене последствий — отголосках массовых преступлений национал-социализма в разнонаправленных воспоминаниях, прежде всего об их смещениях в памяти немцев и евреев.

Издание адресовано политологам, философам и всем интересующимся историей Европы в XX веке.

УДК 323.14
ББК 66.1(0)

ISBN 978-5-8243-1370-3

- © Berlin Verlag GmbH, Berlin. All rights reserved, 1995
- © Издание на русском языке, оформление. Издательство «Российская политическая энциклопедия», 2010

ПРЕДИСЛОВИЕ

Коллективная память — всегда частное дело; всеобщей памяти не существует. Такое разочаровывающее заключение обращает внимание на соотношение памяти и воспоминания: исторической конструкции предшествуют исторические образы, основывающиеся на различных конфигурациях опыта. Контексты опыта в свою очередь приводят совершенно произвольно к первичному выбору того, что с помощью памяти превратится в историю — от тематического предмета до исторического метода. Эти частные компоненты коллективной памяти обычно остаются недоступными для истории, претендующей на всеобщность.

В этой книге собраны статьи, выступления и отрывки, посвященные попыткам тематизировать историю и память, исходя из указанной предпосылки. При этом в основном речь идет о феномене последствий — как бы об отголосках массовых преступлений национал-социализма в разнонаправленных воспоминаниях, прежде всего о смещениях и согласованиях в памяти немцев, а также евреев.

Некоторые статьи появились в период сразу после 1989 года и находятся под знаком исторического перелома. Как это свойственно началу новой эры, перспектива смещается в направлении прошлого. Его контуры проступают яснее, и его послание могло бы звучать так: распространенное прежде универсальное толкование действительности все больше обнаруживает свои частные составляющие.

В этой книге речь идет о феноменах, просуществовавших 40 лет после национал-социализма, в первую

очередь о сложной, кажущейся парадоксальной связи механизмов переработки и защиты. В основном о превращении специфической формы частной памяти в кажущиеся универсальными толкования, о повторениях, круговоротах, о центробежном движении в синтаксисе сравнения и вообще о маскарade добра.

Представленные здесь статьи носят фрагментарный характер. По большей части они появились в ответ на требования времени. Поэтому они не могут и не стремятся заменить систематическое исследование исторического предмета, даже если в них и различимы его направления.

Для точной демонстрации хода развития предпочтение было отдано хронологическому порядку статей, а не тематическому.

*Дан Динер
Эссен/Тель-Авив
сентябрь 1994 г.*

ГЕРМАНИЯ, ЕВРЕИ И ЕВРОПА. О ПРОГРЕССИРУЮЩЕЙ ПОБЕДЕ БУДУЩЕГО НАД ПРОШЛЫМ

М. С. С. С.

В своем как политическом, так и номинальном конце это столетие представляется эпохой немецкой. Контуры века окончательно проявились только на основании воссоединения политической общности немцев, по окончании общественного противостояния Востока и Запада, с завершением мировой гражданской войны ценностей, длившейся с 1917 по 1989 год. Начиная с образования национального немецкого государства в 1871 году, повлекшего распад традиционного равновесия сил в Европе, а затем с абсолютно немецкой Первой мировой войной, которая вывела США из их заокеанской изоляции в Старый Свет, и заканчивая Второй мировой войной, гораздо более немецкой, чем Первая, — все эти решающие исторические изменения получали начальный импульс от поведения империи в центре Европы. Само собой, это относится и к вызванному гитлеровской войной присутствию Советского Союза вплоть до Эльбы, и к противостоянию Востока и Запада, сформировавшемуся не в последнюю очередь из-за присутствия союзников в Германии. Поэтому неслучайно, что конец холодной войны и возвращение Германии находятся между собой как в исторической, так и логической взаимосвязи.

В контексте переворота в Европе возвращение единой Германии не является исключительным явлением, хотя оно и представляет собой выдающееся событие,

заканчивающее идеологическую эру. Здесь следует отметить усиление тенденции восприятия себя и других, построенного на национальной основе. Такое возвращение, казалось бы, давно преодоленного отбора не обязательно приведет к возрождению бьющего через край национализма межвоенного времени. Скорее, новые неясности по аналогии с прошлым служат формированию нации. Так, дебет и кредит исторического перелома в Европе сводятся исходя из классических противоречий национальных государств, даже если они признаны политически давно устаревшими. На этом фоне все сообщество, исповедующее ценности Запада, не может одержать одинаковую победу над восточным противником. Если США и Германия, в первую очередь Германия, несомненно принадлежат к победителям продолжавшегося десятилетия противостояния, то доля Англии и Франции в успехе представляется скорее скудной. Причины для такого уныния очевидны: в результате окончательной победы Запада в холодной войне Англия и Франция существенно проиграли в политическом значении по сравнению с Германией. Если для США столкновение с восточным противником произошло исключительно на почве антагонизма ценностей, то Германия, территориально разделенная гражданской войной, была охвачена не только идеологическим конфликтом ценностей, но и спором о национальном единстве. Такое удвоение обстоятельств в антагонизме ценностей — идеологических и национальных — присутствовало и в Англии, и во Франции, только с противоположным знаком. Обе державы, кроме их участия в холодной войне, призваны были также противодействовать усилению национальной Германии и ее возможному сближению с Советским Союзом как бывшей Россией. В первую очередь французская политика пыталась по традиции quadripartite сбалансировать круг классического равновесия сил в Европе: Гер-

мания должна быть по возможности слабее Франции, но при этом сильнее России. Таким образом, с точки зрения национальных государств, возвращение единой Германии, родившееся из распада ценностно-идеологического противостояния Востока и Запада, означает для Англии и Франции некоторые потери.

Вопрос о том, получит ли такая внутренняя дифференциация Запада реальное политическое значение или речь здесь идет просто о давно преодоленных пережитках прошлого в виде традиционного образа мыслей, пока остается нерешенным. Прежде всего возвращение к старому европейскому образцу восприятия имеет смысл только как вспомогательное средство для толкования новой действительности, чтобы она на самом деле могла быть понята. Новые феномены можно поместить где-то между новой реальностью и имитацией прошлого. Можно ли считать волну антисемитизма, прокатившуюся по всей Франции после событий в Карпентрасе, признаком оживления традиционного враждебного отношения к евреям в заново строящейся Европе? Партии большинства во Французской Республике правильно поступили, когда осудили (немедленно и в полном своем составе) бьющую через край антисемитскую идиосинкразию в контексте насковозь злокачественного расизма, исторического близнеца антисемитизма. Но этот демонстративный протест указывает и в другую сторону. По своей форме он похож на повторение, ритуал Французской Республики и республиканцев по аналогии с мобилизацией демократических сил по поводу дела Дрейфуса. Как будто нужно было, выходя за пределы конкретного события, удостовериться в основополагающем завете республиканских сил в заканчивающемся XIX веке, от которого берет свое начало сложившееся положение дел во внутренней политике Франции на последующий век. Борьба с антисемитизмом как полити-

ческое самозаверение исчезающей эпохи? Перемены в Европе, несмотря на все уверения политического класса в обратном, вселили значительную неуверенность именно во Франции. Как родина прав человека Французская Республика стоит полностью на стороне победителей в холодной войне, но как великая нация она должна будет довольствоваться подчиненной ролью в Европе, которая была ей предначертана с момента объединения Германии 1870–1871 годов.

Действительное значение поднявшегося во Франции после Карпентраса антисемитизма и демонстративного анти-антисемитизма сегодня еще невозможно выяснить. Более определенным, хотя и не менее сложным явлением выглядит возвращение вполне привычных проявлений национализма и антисемитизма в странах бывшей политической Восточной Европы — культурный контекст, уже давно снова отражающий дифференцированный политический, исторический и этнографический рельеф. Здесь знаки прошлого различимы в новом гораздо отчетливее, чем на Западе. Оставленные марксизмом-ленинизмом руины сознания усваивают принудительно заданные и практически безальтернативные формы толкования мира, считавшиеся давно отвергнутыми, — нация и религия. С их помощью должна как будто сама собой заполниться пустота, образовавшаяся как в индивидуальном, так и в коллективном жизненном цикле.

Религия и нация традиционно не разделялись в Восточной Европе межвоенного и предшествовавшего ему времени. Религиозная и национальная принадлежность наслаивались друг на друга. К секуляризации стремился только тонкий слой так называемой «интеллигенции», а также меньшинства, которые не могли подняться в тотальности (в первую очередь евреи). В это внесли свой вклад и направляемые сверху модернизационные им-

пульсы. Индустриализация российской империи на рубеже веков была отмечена классическим антагонизмом между ориентированным на Запад модернизмом и его противниками, настроенными в значительной степени славянофильски. Символом модернизации и секуляризации были опять же евреи. Поэтому неудивительно, что некоторые из них стали большевиками, хотя свободомыслящие евреи из числа социалистов в основном испытывали симпатию к меньшевикам. И все же как тогда, так и сегодня реакционеры всегда идентифицировали их с революцией и, соответственно, делали ответственными за преступления сталинизма. БСК

Возвращение религии и нации, рост национализма, как представляется, снова повернется против евреев и приобретет антисемитский характер, как будто ничего не изменилось. С другой стороны, стоит задуматься о том, что проявления антисемитизма в России, имеющие некоторое сходство с событиями во Франции, хотя и с большей взрывной силой, являются выражением имитации прошлого в период неопределенности. В любом случае интересно, что враждебность по отношению к евреям с новой силой заставляет о себе говорить как во Франции, так и в России, этих классических странах антисемитских конвульсий в конце XIX столетия: во Франции — дело Дрейфуса, а в России — погромы и «Протоколы сионских мудрецов». Это составляет с исторической точки зрения бросающийся в глаза контраст с Германией, сплывающий на национальной основе. Здесь практический и «научный» антисемитизм после своего временного поражения в 90-х годах XIX века испытал прорыв в политическую культуру благодаря трудам национал-социалистов в целом исторически сравнительно поздно, но от этого еще более эффективно. Тогда, на рубеже веков, антисемитские традиции в Германии отличались от культуры антисемитизма

в Восточной Европе и на востоке Центральной Европы. Это позволяет лучше понять глубокое потрясение, скептическое недоумение, распространившееся среди евреев от того, что именно Германии удалось так непреклонно вырваться обратно к цивилизации.

Сегодня Германия возродилась, вернулась как национальное сообщество, которое в исторической памяти служит резонатором для многообразных страхов и опасений. Вызывает сомнение: а имеют ли они реальное основание? Но поскольку режим национал-социалистов совершил такие ужасные деяния, история германской нации остается словно насквозь пропитанной этими 12 вечными годами. То же и с восприятием Первой мировой войны, империалистическая предыстория которой отягчает немецкую вину и ответственность совершенно по-другому, в гораздо меньшей степени, чем безграничные планы Гитлера по завоеванию мира. Но она также включается в ретроспективное влияние коллективной памяти о Второй мировой войне. История немецкой нации воспринимается исходя из ее слияния с национал-социалистическим режимом, каким бы не соответствующим действительности в деталях этот факт ни казался. Воссоединение Германии, даже если понимать его как новое объединение, конституирование, вызывает, таким образом, опасения и сомнения, в первую очередь у тех, чья судьба была так негативно связана с кульминационными периодами могущества германского государства.

Как уже было сказано, вряд ли стоит ожидать повторения прошлого. Скорее история готовит некоторый парадокс, и прежде всего для евреев. Так, на основании современных тенденций развития можно высказать предположение, что ввиду очистительного воздействия нацистского прошлого и высоких стандартов общественного развития и культуры у Германии сно-

ва появляется возможность иметь значительную притягательную силу для евреев из Восточной Европы. Если исторические ссылки и аналогии имеют какую-то практическую пользу, то, наверное, значение Германии для евреев имеет тот же вес, что в эпоху поздней империи, вплоть до переписи евреев 1916 года, или в период расцвета Веймарской республики. Ввиду превратностей и потрясений, которые будут и в дальнейшем сопровождать процесс изменений в Восточной Европе, следует, кроме того, опасаться, что бояться за свою безопасность и жизнь придется, видимо, в первую очередь евреям. Ожидать защиту и поддержку, напротив, можно со стороны того стабильного и просвещенного ядра Европы и доминирующего в нем центра, каким является Германия.

Германия как сила, защищающая евреев на Востоке? Возможно, мрачное коварство истории, но при ближайшем рассмотрении подобное видение не кажется таким уж бессмысленным, как на первый взгляд, тем более что возрождение Германии в свете крушения социализма в бывшей политической Восточной Европе и рост национального и религиозного партикуляризма создают рамки для сравнения с Европой рубежа веков, пусть даже лишь в качестве вспомогательного средства.

Такое изменение обращает внимание и на еще одно интересное обстоятельство: в течение этих 40 лет западная часть Германии и Израиль были удивительным образом взаимосвязаны. На эту связь указывает хотя бы символичность дат их образования — 1948 и 1949 год. Их общий исторический горизонт являет не только некоторые само собой разумеющиеся обстоятельства, но и гораздо больше не таких очевидных. Так, оба сообщества были, каждое по-своему, продуктами тех изменений, которые связаны с Второй мировой войной и ее последствиями.

Но в большей степени существование обеих стран и их стабилизация были непосредственно связаны с началом холодной войны, и не в последнюю очередь с первой вооруженной конфронтацией Востока и Запада — войной в Корее. Интересы обоих государств оказались объединены в треугольнике друг с другом и с США: молодая Федеративная Республика, которая с помощью своего поднятого на высоту государственной идеи положительного отношения к евреям, а тем самым и к Израилю, также стремилась добиться благосклонности общественного мнения в США, и Израиль, который ради интеграции массового потока иммигрантов обращал себе на пользу в финансовом отношении эту потребность Германии в признании. Этот Израиль, чей вес связан скорее с внутренней политикой США, чем с их глобальной стратегией, означает в этом треугольнике нечто вроде публично действующей моральной валюты США, применяемой в отношении западной части Германии. Но перемены в Европе скорее всего приведут к последовательному отходу США из Старого Света. Возрождение Германии и следующее за ним позитивное чувство собственного достоинства немцев вместе с распадом созвездия двух государств, основанных в конце 1940-х годов, вероятно, еще окажет в будущем свое противоречивое влияние.

Как бы возвращение Германии ни отозвалось в политической реальности в отношении евреев, эта Германия, западная часть которой в последние 40 лет претерпела глубокую американизацию и вестернизацию и тем самым стерла несколько негативно унаследованных характерных черт национальной истории, готова сегодня отважиться с помощью своего расширения стать более национальной, более восточной и более протестантской. Эта Германия как пограничная

страна между Западной и Восточной Европой сможет осторожно избавиться от воспоминаний о тех событиях, которые до сих пор отравляли в сознании немцев понятие нации. Здесь последствия объединения станут такими, как при воссоединении. Ведь в отношении воспоминаний история немцев и евреев и дальше движется в противоположных направлениях: чем больше немцы будут позитивно подходить к понятию нации, чем органичнее современное сообщество впишется в непрерывный поток национальной истории, тем слабее станет воспоминание о национал-социализме и его преступлениях.

История вряд ли знает другой такой случай, когда нация и режим были бы так тесно переплетены, как в национал-социалистской Германии. Режим представлял и монополизировал нацию словно бы в негативном апофеозе. Неслучайно, что утверждающая национальные ценности попытка консервативных офицеров свергнуть национал-социализм «20 июля» может быть лишь памятной датой в честь о неудаче. Совершенно другое отношение было между режимом и населением в Советском Союзе. В отличие от национал-социализма, здесь главной жертвой сталинского режима был собственный народ. Линия, разделявшая «своих» и жертв, разделяла в равной мере русских, как и другие советские народы. Более того, сталинская мания власти и преследования совершенно произвольно могла сегодняшнего палача сделать завтрашней жертвой. Сталинизм был слепым господством в прямом смысле слова. Террор в самом деле мог настичь каждого. И именно его произвольный характер должен был сделать всеобщим страх, который выступал связывающим систему средством. Национал-социалистский режим, напротив, находил свои жертвы

В основном вне сообщества и, соответственно, отделял по их происхождению. Мир нацистов был тщательно разделен согласно псевдонаучным критериям на биологически определяемых соотечественников и иноплеменников. Все это опять же ставит вопросы о состоянии коллективной памяти сегодня и в будущем. Так, сталинизм предстает в первую очередь как внутрисоветская проблема преодоления. Напротив, национал-социализм касается прежде всего отношения немцев к другим. Именно поэтому история режима переплетена прежде всего с национальной историей. Возвращение нации, ее возвышающееся до уровня государственной идеи позитивное наполнение как раз при всем ритуализирующем культивировании воспоминаний о нацистских преступлениях препятствуют возможности того, что в коллективном сознании действительно будет присутствовать прошлый ужас. Сплав национал-социалистского режима и немецкой нации, сложившийся за те 12 вечных лет, делает возможным возвращение нации к жизни только за счет памяти о режиме и его преступлениях.

Такое забывание ускоряется благодаря подавляюще осязаемому присутствию сталинистских преступлений. В сознание духа времени окончательно проникает, определяя его будущее, распространенная готовность понять национал-социализм и сталинизм как эпохальных близнецов. Кажется, Восток и Запад, отбросив в эйфории прошлую вражду, пребывают в согласии относительно оценки соответствующих режимов. Тем самым теория тоталитаризма становится основополагающей для сознания и дает убедительное для всех духовно-историческое истолкование.

За такое смещение на горизонте ценностей распространяющегося далеко за свои реальные пределы Запа-

да в полной мере ответственны партийная коммунистическая интерпретация истории национал-социализма как фашизма и пусть даже считающие себя оппозиционными, но в конечном итоге привязанные к ней схемы толкований. Антифашистское упрощение превратилось в историческую ложь. А поскольку коммунистический антифашизм монополизировал воспоминание о нацистских преступлениях и тем самым свел их к их мнимому классовому характеру, он в своем крушении тянет за собой в бездну не только государственную идею ГДР, но и воспоминание о тех жертвах национал-социализма, которые отвечают только за свой подлинный характер, состоявший в том, чтобы стать жертвами без социальных к тому оснований. *и наши отцы, родители*

Совершенно по-иному опять же возвращение немецкой нации затрагивает евреев, живущих в западной части государства, и их самосознание. Последнее до сего времени совершенно гармонировало с самосознанием Федеративной Республики: в обоих случаях имело место ощущение временного состояния. Обустройство евреев в Западной Германии и при ее содействии происходило относительно беспрепятственно, вопреки постоянным приукрашиваниям, не в последнюю очередь потому, что западное государство парадоксальным образом дистанцировалось от нации из-за своей вовлеченности в атлантический военный союз и в европейские институты, прежде всего из-за своего провозглашенного временного характера, открытого национального вопроса. Федеративная Республика могла представлять собою что угодно: конституционное государство, сообщество, самосознание которого строилось в первую очередь на экономическом и социальном порядке и которое было прочно вовлечено в отношения мировой гражданской войны — холодной

войны; но чем Западная Германия точно не была, так это национальным государством.

Благодаря самоочевидной дистанцированности от нации евреи в Западной Германии в гораздо большей мере приблизились к идеальному типу гражданина Федеративной Республики, чем этнические немцы. История же тех евреев, которые прибыли в качестве реэмигрантов в ГДР и, таким образом, в отличие от преобладающего числа евреев в Федеративной Республике действительно осуществили экзистенциальный выбор, оказывается в силу политического фактора поистине трагичной. Они тоже могли при всей внутренней дистанцированности от режима СЕПГ быть идеальным типом граждан антифашистской ГДР как «другой Германии». Объединенное же теперь всенемецкое сообщество выводит из игры так по-разному сформировавшееся самосознание евреев обеих бывших частей государства. Смогут ли они безболезненно приобщиться к новому немецкому, то есть национальному в своей основе самосознанию, — большой вопрос: ведь для них все то, что в национальном смысле связано с «Германией», стоит близко к национал-социализму. Это отнюдь не мнимая травма, имеющая корни в прошлом. Так они это пережили, и так это для них на самом деле и было.

Почти органическая связь режима и нации в национал-социалистской Германии продолжает оказывать свое воздействие на послевоенное сознание в виде глубоко укоренившейся в нем неразрывности того и другого. Под этим углом зрения разделение Германии психологически воспринималось как справедливое и обоснованное наказание за преступления германских нацистов. То, что в реальности это было не так и только присутствие союзных войск на территории бывшего

германского рейха действительно являлось прямым последствием затеянной нацистами войны, а сам раскол страны следует считать результатом раскола держав-победительниц прежде всего из-за будущей судьбы Германии и приближавшейся холодной войны, — все это не мешает существовать в сознании указанной причинно-следственной связке.

Впрочем, такая неразрывная связь имеет значение и для большинства этнических немцев. Они также ощутили разделение страны, границы, и прежде всего Берлинскую стену, как вторгающийся в современность символ национал-социалистского прошлого, даже как выражение наказания. Падение стены и преодоление раскола должно было поэтому восприниматься как коллективная амнистия, как наступившее наконец избавление национального от плена отравленных национал-социализмом воспоминаний. Следом теперь может приходиться амнезия в отношении преступлений.

Итак, один в высшей степени парадоксальный результат возрождения Германии как восстановленной нации в центре Европы может считаться очевидным уже сегодня, накануне политического и институционального объединения: Германия может снова обрести центральное значение для судьбы евреев Европы. Ведь как восточная держава Запада эта страна должна оказывать на евреев восточной части континента такое же притягивающее воздействие, как было, скажем, на рубеже веков. Придется довольствоваться представлением, что Германия как ведущее сообщество все более интегрирующегося ядра Европы не только должна почувствовать себя призванной, но и может быть реально призвана в качестве покровителя для находящихся под угрозой еврейских меньшинств в находящейся в переломном состоянии, которое продлится годы, а может быть, и десятилетия,

бывшей политической Восточной Европе, и прежде всего в исторической России. Таким образом реальная история противопоставляется истории конститутивных моментов коллективной памяти. Цена восстановления позитивной национальной преемственности в Германии в лучшем случае выпадет в осадок в виде ритуализированного воспоминания о тех 12 вечных годах — воспоминания, которому лучше подошло бы определение «забвение».

ПОНЯТЬ ЗАПАД. ВОЙНА В ПЕРСИДСКОМ ЗАЛИВЕ КАК НЕМЕЦКАЯ ПОУЧИТЕЛЬНАЯ ПЬЕСА

Война в Персидском заливе была также и немецкой войной. Только сыграна эта роль была притворно. Но, несмотря на фиктивность участия, она оставит глубокий след в коллективном сознании в повороте от западного Запада в сторону самих себя. В этом отношении местная взволнованность служит индикатором дальнейшего поворота на старо-новом особом пути политической культуры. Если ввиду объединения германских государств еще господствовало нечто вроде добровольно взятой на себя осторожности и осмотрительности (в основном из-за опасений перед той инстанцией, которая обычно носит наименование «заграница»), то по поводу войны в Персидском заливе закипели чувства, лишь с трудом рационализируемые политически. О своеобразном переносе с одного события на другое речь может идти в отношении того, что военный конфликт вдали от Германии взволновал, во всяком случае временно, более глубокие слои коллективной памяти немцев, чем неожиданная близость германского национального государства. С редким единодушием, будто объединившись, взаимодействовали правительство, оппозиция и движение в защиту мира. В сдержанном формате поведения федерального президента *volonté nationale* нашла свое представительное завершение. Только после многократных и настойчивых вопросов с той стороны Атлантики и Ла-Манша правительство и общественность обнару-

жили, насколько далеко Германия ушла от того контекста, на который она так охотно ссылается, — от Запада. Насколько они были застигнуты врасплох, показала их последующая реакция — подавленная обеспокоенность, с которой была одобрена ракетная атака на еврейское государство Израиль, что явилось довольно существенной проверкой для исчезающего исторического взаимопонимания между западным Западом и бывшей, еще разделенной Федеративной Республикой.

Таким образом, единение Германии и война в Персидском заливе представляют собой события, полностью дополняющие друг друга в процессе девестернизации страны. Как Крымская война привела Россию к отказу от западного пути и отступлению в сторону своего романтического «Я», прочь от взаимосвязей атлантической революции, так и война в Персидском заливе должна была в Германии заново усилить политическую культуру особого пути, отличного от пути западного Запада.

Германия в Персидском заливе? Чистый вымысел, который вселяет новую жизнь в то, что казалось давно прошедшим. Микроэлементы национальной традиции и впрямь оказывают свое магическое воздействие в коллективной памяти. Пути их реализации получают при этом совершенно удивительное направление. Они кажутся такими же парадоксальными, как и их носители. Например, обстоятельство, что именно те, кто выдает себя за левых, играют роль сомнительного авангарда в оживлении традиций, противостоящих политической культуре Запада. Такая новаторская работа, вероятно, соответствует авангардистскому самолюбию, но обнаруживающееся при этом содержание говорит, несмотря на всю зашифрованность, на языке, который трансцендирует в национальном плане давнюю разницу левых и правых.

После окончательного коллапса несущих колонн, на которых держалась уверенность левых, с драматической кульминацией чистого самоотречения ГДР пропала и нейтрализация национального начала в Германии, основывавшаяся на разделении страны. Это довело до крайности и без того намечавшуюся потерю политических ориентиров. Война в заливе должна была продолжить историю поражения. Таким образом, действовавшее до сих пор преимущество справедливого требования, которое признавалось за странами третьего мира *a priori*, то есть без оглядки на их внутреннее устройство, было аннулировано событиями в Персидском заливе ввиду характера режима в Ираке — «узкоколейный фашизм», как еще более 30 лет назад, пессимистически предвидя путь развития стран получавшего тогда самостоятельность третьего мира, предсказал Франц Фанон; и это, собственно, уже в ходе массовых сражений первой войны в Персидском заливе между Ираком и Ираном. Уже просто недостаточно почти теологическим жестом разделить акторов политического действия на добрых и злых, выжечь историческое клеймо Каина только Западу и оставить в покое весь свет, который поднимается против него. За ним кроется замаскированный под солидарность расизм, дезавуирующий население этих стран тем, что скрывает их от всякой критики. Подтверждает это искажение востоковедческий топос «арабской массы», этих обезличенных людей Востока, поступки которых, как явления природы, имеют иррациональное начало — они ни движимы интересами, ни наделены разумом.

При первом потрясении последней войны все это представлялось совсем по-другому. Временно вдохнули новую жизнь в старые постулаты, которые пошли на дно вместе с крушением реального социализма. Воскресение уже объявленных мертвыми духов создало политическую реальность, в которой все снова встало на свое

исконное место. Но исчезнувшему манихейскому разделению мира на две стороны, включая и третью, оставшуюся без преступления и наказания, лишь на короткое время было позволено оказывать свое идентифицирующее действие. Легкомысленно произнесенная аналогия с Вьетнамом подействовала как источник вечной молодости: казалось, что старое, хорошо знакомое время выплыло из тумана современной неопределенности. Поражение должно было только усугубиться из-за военного опровержения со стороны США.

Но трагизм неверно проведенного протеста еще больше: на фоне воссоединенного государства германской нации появилась равномерно распространившаяся взволнованность по поводу тех окуклившихся, но все еще очень действенных традиционных отношений непрерывности, которые окончательно перемешали успокоительное различие во взглядах, исторически определенное как «левые и правые», и свели его к простому указателю направления на дороге. Ибо то, что бьет через край в облике общественного восприятия, уже не имеет ничего общего с категориями социальной критики. Последняя уже вряд ли способна скрывать свой характер простого камуфляжа национальной обиды, многие годы пребывавшей в состоянии коллективной дремоты. Здесь речь идет о глубоко укоренившемся антизападном аффекте, об аффекте, который был в высшей степени знаменательным для исторического пути Германии к единому государству и который, казалось, сошел на нет после вестернизационной нейтрализации понятия нации в западной части страны. Как показала война в Персидском заливе, только время сможет ответить на вопрос, возродится ли эта обида после поразительного возвращения германского национального государства. В любом случае симптомов такой преемственности множество. Их навязчивость подтверждается тем отречени-

ем, с которым воспринимается прошлое и его настойчивое присутствие в настоящем.

В 1939 году, как толчок к началу войны, вышла в свет вызвавшая большой интерес книга известного автора научно-популярных произведений Антона Цишки. «Нефтяная война» — гласило блестящее название. Уже в предисловии публицист поспешил раскрыть свои намерения: разоблачить традиционного врага Германии — западные демократии с их принципами «свободы и права» — как «занавес из лжи и клеветы, лицемерия и самодовольства». За ними якобы кроется не что иное, как гнусная материальная выгода.

Такая песня не была в те времена ни новой, ни откровенно национал-социалистской. Она продолжала только одну традицию, которая, начиная с эпохи романтизма, а затем с разнообразными отклонениями отмечала особый немецкий путь в политической культуре и практике. В Германии было вполне обычным делом разыгрывать в отношении стран, составляющих ядро Запада, основанное на культуре высокомерное превосходство. Так, Первая мировая война была воспринята не в последнюю очередь как нечто вроде европейской гражданской войны, где на поле чести должен был произойти суд над западным рационализмом, утилитаризмом и стремлением к выгоде. Знаменательно, что военный трактат Вернера Зомбарта носит дихотомическое название «Торгаши и герои». В национал-социалистской Германии это противопоставление якобы более высоких ценностей и презренного утилитаризма получило новый толчок. Борьба Германии была стилизована псевдоантиимпериалистическим манером под мировое противостояние между старыми и новыми нациями, между имущими и неимущими, или, говоря словами модного писателя Антона Цишки, глядя в сторону подлого Альбиона: «Везде кровь одерживала победу над нефтью,

национальное самосознание — над интернациональным капитализмом».

Можно уже не верить в искренность, с которой движение за мир и его покровители защищаются от подозрений в американизме, — они просто не знают более глубокого значения этого понятия. И на самом деле, в Германии этот феномен лишь немного подернулся патиной. А если это понятие через знакомую историческую обиду применить к англосаксам, то область его резонанса расширится, а преемственность подтвердится.

Выдающие себя за разоблачение сарказм и насмешки, которыми осыпают американские претензии на то, что война с Хуссейном ведется по поводу всеобщих принципов, продолжают те скрытые связи, которые еще осмысляются морально близкими к ним самонадеянными критиками движения за мир. Прежде всего псевдоматериалистический жест, которым раскрытие подлых интересов выставляется как настоящая причина войны, должен выдать за простую экономику сложную смесь политической морали, юридических принципов и сознания региональной стабильности. Война якобы ведется не за что иное, как за доступ к нефти. Все остальное — ложь.

И на самом деле, государственное сообщество должно иметь крайне важное значение, чтобы из-за него уничтожить универсальный принцип поддержания существования всех государств. Близкое к этому экономически суженное понятие интереса, которое пытается осмыслить сложную реальность в кажущихся антисемитскими коммерческих категориях дебета и кредита, скорее соответствует намерению Саддама, приказавшего поджечь нефтяные источники при напоминающем бегство отступлении из Кувейта, как будто хотевшего еще раз объявить всему миру, для чего была проведена его авантюра: для незаконного присвоения чужой собствен-

ности, обыкновенной кражи. Военную интервенцию Соединенных Штатов и их коалиции, напротив, мало интересовали нефтяные богатства, в гораздо большей степени речь шла об основанной на международном праве защите принципа собственности при восстановлении государственности в Кувейте. Защита этого принципа опять же требует наказать кого-то в назидание другим: абстрактного не может быть без конкретного.

Именно США больше других западных сообществ защищают универсализм ценностей и доктрин. При этом они соответствуют абстракции мирового рынка. Это можно было бы легко отбросить как империализм, но такая мировоззренческая обида за цивилизаторское достижение в меньшей степени может рассматриваться как выражение обдуманной критики, чем как центральная составляющая традиции националистического и автаркического порядка мышления. Ее сходство с фашизмом невозможно не заметить. Антиимпериализм как логическая фигура, которая многих даже побудила к насильственным действиям, в большей степени подвергся воздействию той традиции, чем это могут предположить чересчур усердные клакёры. Постоянное, с лучшими намерениями повторяющееся обращение к грабительской колониальной истории мировой капиталистической системы меньше способствует объяснению нынешней нищеты в странах третьего мира, чем могла бы попытаться внушить брэнная аура многих школ мысли с претензией на практику. Традиционная американская политика нераздельного мирового рынка в прошлом гарантировала существование многих государств, которые иначе были бы давно поглощены жадными до аннексии соседями. К тому же США активно ускорили процесс демократизации, и это к неудовольствию европейских колониальных держав. Тем не менее североамериканские вмешательства в гражданские войны,

свержение непокорных правительств и дестабилизация считавшихся враждебными режимов рассматривались как легитимный способ, чтобы добиться гражданского универсализма, даже, если потребуется, с применением силы. Это могло бы привести к крайне прискорбным явлениям у себя на заднем дворе, во всяком случае в Европе интервенции во внутривосточные дела другого государства сделали возможными как парламентаризацию германской империи в конце Первой мировой войны, так и свержение национал-социализма.

Но как бы то ни было, уничтожение государства, субъекта международного права, считается наказуемым международным преступлением. Ведь если такая практика уничтожения субъектов найдет подражателей, то перестанут действовать даже минимальные условия для сколько-нибудь взвешенного и основанного на праве миропорядка. В Германии, похоже, действия США против Саддама Хуссейна встретили больше взволнованного протеста, чем где бы то ни было на политическом Западе. Но причиной этого, вероятно, стало то обстоятельство, что здесь политическая мораль Соединенных Штатов традиционно оказывается менее понятной, чем где бы то ни было — гражданское общество без государства, как называл Америку еще Гегель.

Сегодня, по окончании двухполюсной эры, Соединенные Штаты получили гораздо большую степень свободы действовать по своим правилам и ценностям, исконно американским, но одновременно и всеобщим. Саддама Хуссейна сгубило то, что он именно в этот момент отправился в свой разбойничий набег. Так, Кувейт, кроме своего реального значения как нефтяного государства, послужил еще и прецедентом, новым подтверждением миропорядка, где форма государственности конституируется как несущая колонна тех принципов, которые берут свое начало в форме обмена.

Исторические аналогии, привлекавшиеся западным Западом для легитимации своих действий против Садада Хуссейна, например это пресловутое сравнение с Гитлером, привели в Германии к временному оживлению духовной войны. При этом метафора Гитлера связывалась на западном Западе с совершенно другим контекстом, нежели в тех странах, чье население стало жертвой массового уничтожения или войны за жизненное пространство. Метафора Гитлера применяется в англо-саксонской традиции скорее в контексте 1938–1939 года, когда Англия обнаружила дезавуированность своей политики уступок по отношению к германскому рейху, которую она вела еще с 1919 года, после того как немецкий диктатор нарушил свои обещания (в первую очередь после вторжения в «оставшуюся Чехию», как он ее называл), и ввела политику, приведшую к до тех пор отклонявшимся со стороны Британии гарантиям государственной неприкосновенности Польши и в конце концов закончившуюся Второй мировой войной. Следует заметить, что Англия была полна решимости отстаивать этот принцип. И при всей беззастенчивости коммунистической пропаганды об «империалистической войне» речь здесь не могла идти о нефтяных или других источниках.

Узкий экономизм не в состоянии охватить подобную политическую этику. Испуганное удивление, с которым Гитлер встретил объявление войны британцами, от кого он обычно презрительно отмахивался, как от «нации торгашей», должно было показать даже тому, кто абсолютно не признает стойкость политических принципов, в чем заключается так легкомысленно и охотно упускаемая из виду разница между основанной на форме обмена гражданской цивилизованностью и держащимся на непосредственной силе варварством. Хоркхаймер и Адорно описали это тонкое различие в

одном из добавленных к «Диалектике Просвещения» набросков, названном «Против всезнайства». Они интерпретируют высказывание Чемберлена о Гитлере (что диктатор и, соответственно, его требования являются *unreasonable*) в том смысле, что эквивалентность даваемого и взимаемого должна соблюдаться. Сознание, построенное на принципах обмена, ломается, когда властимущий только применяет непосредственное насилие. «По-хорошему фашиста не убедить», — гласит окончательный вывод. В первую очередь в конкуренции государств фашисты проявляют такие свои качества, как «близорукость, упрямство, незнание экономических сил и, прежде всего, в силу неспособности видеть негативное и принимать его в расчет при оценке положения в целом субъективно ведут дело к той катастрофе, которую в глубине души они всегда ожидали»¹.

С точки зрения западного Запада и его основанной на договоре политической философии, Гитлер утратил правомочие на заключение договоров уже из-за одной своей непредсказуемости и вероломности. Но без доверия не может быть никакой гарантии стабильности в основополагающем принципе международного права *pacta sunt servanda*, разве что при постоянном применении или угрозе применения силы. В этом отношении требование безоговорочной капитуляции, которое выдвинули Черчилль и Рузвельт во время их встречи в Касабланке, полностью соответствовало их политической философии. Оно не ставит более никаких условий перед дезавуировавшим себя субъектом права, а требует его элиминирования как предпосылки новой договороспособности.

¹ Пер. с нем. М. Кузнецова цит. по изд.: Хоркхаймер М., Адорно Т. В. Диалектика Просвещения. М.; СПб., 1997. С. 259.

Также и понятие «слово диктатора» отсутствует в политическом словаре западного Запада. По крайней мере, в Германии для этого нет настоящей традиции. Самое позднее со времени полицейского режима Наполеона III англичане смотрели полным презрения взором на считавшиеся далекими от цивилизации политические системы континентальной Европы. Сами британцы наслаждались самосознанием, основанным на институтах парламентского контроля, разделения властей и господства права. В образе диктатора, колеблющемся между внушающей ужас деспотией и обнажающей смехотворностью, становится очевидной исходящая от него опасность для демократически организованных сообществ. Диктатор, благодаря своей абсолютной, не ограниченной никаким контролем власти, может непосредственно, так сказать, не сходя с места, перейти к военным действиям. Прозрачность формальных процессов при демократии, необходимая и намеренная сложность процедуры означают, напротив, высокую степень предсказуемости. В этом отношении практически немыслимы войны между демократическими государствами, хотя бы из-за рациональности сложной процедуры при принятии политических решений. Впрочем, в первую очередь именно отсутствие момента предсказуемости и взвешенности в поведении государств стало причиной тому, что для англо-саксонской политической традиции пакт Гитлера–Сталина превратился в своего рода центральный символ поведения диктаторов. Если для левых грехопадение заключается в соглашении с фашистом Гитлером, то англо-саксонское политическое восприятие отодвигает идеологический контраст на задний план и подчеркивает институциональный момент. Несмотря на глубокую мировоззренческую вражду, в самой власти диктатора заложено, что он может в угоду кратко-

временному тактическому преимуществу аннулировать все стратегические или даже идеологические индивидуальные обязательства — просто так, лишь потому что он не обязан отчитываться ни перед какой демократической инстанцией. Деспотическая власть, произвол диктатора, поскольку он ничем не связан, непредсказуемы во внешней политике для других сообществ, а потому опасны и, наконец, недоговороспособны с точки зрения основанной на договоре политической философии. В этом и только в этом заключается, согласно англо-саксонской политической традиции, аналогия между Саддамом Хуссейном и Гитлером.

Современникам и тем более потомкам Вторая мировая война и ее национал-социалистическая предыстория представляются временем чеканки сегодняшнего политического языка — его образов, метафор и аналогий. Из этого прошлого извлекаются исторические уроки для современности. Во всяком случае, в Германии из прошлого были извлечены некоторые непреложные для политической культуры страны истины — как, например, категорический императив не допускать начала конфликта, но в любом случае оказывать сопротивление. За ужасами Второй мировой войны последовало принципиальное решение больше никогда не воевать.

Это имеющее историческое происхождение призвание не допускать начала, но всегда оказывать сопротивление распространению зла переросло в немецкую дилемму. Так, господствующая теория утверждала, что ростки ужаса заложены в тоталитарном мышлении. Другие же придерживались мнения, что они присутствуют уже в общественных предпосылках того, что выдает себя за свободу. Как бы то ни было, политике в Германии присуще нечто вроде нагруженного религиозией окончательного обоснования. Кроме того, деление страны на две части благоприятствовало этому похо-

жему на гражданскую войну противостоянию образов мыслей — практически разжигало его. А исторические декорации на сцене этого столкновения были сделаны из материалов, происходящих из арсенала национал-социалистской эпохи.

На этом фоне с абсолютно реальными действующими лицами — бывшими нацистами, попутчиками и всеми остальными, кто получал выгоду от национал-социалистского режима, была поставлена своего рода пьеса преодоления. Пьеса протеста, разыгранная с неонацистами, оказала исключительно благоприятное воздействие на ускоренное выздоровление немцев. В то время как неонацисты вели себя как реинкарнация предшественников, они доставили своим противникам удовольствие быть в уверенности, что уж они-то ни в коем случае не совершают исторической ошибки.

Ритуал сопротивления «вдогонку» как предотвращение повторения прошлого имеет в Германии значение создающего идентичность. И все же каким бы симпатичным ни выглядело подобное усилие, оно имеет мало общего с задумчивостью, независимыми поступками и политикой, основанной на разуме. В первую очередь тогда, когда воображаемый образ своего и лучшего «Я» постоянно наталкивается на действительность гораздо более сложную, чем мнимая безопасность заимствованных из истории убеждений. Усвоенное, но не понятое в первую очередь тогда перерастает в трагедию, когда именно предпринятая во благо попытка сопротивления скрывается от ослепленного сознания, стершись от повторения.

Одновременно и предостерегающим, и актуальным для неизбежности повторения в ритуальном предотвращении повторения прошлого является высокоморальный пацифистский отказ от любой войны. «Нет повторению войны» — вот лозунг, которому в Германии

могли бы присягнуть все, невзирая на партийную принадлежность. И для этого есть поистине веские причины. Для страны, которая дважды в этом столетии накрывала Европу и весь мир смертью и нищетой, вывод должен быть один — никогда больше не братья за оружие. Но у этого превратившегося в догму принципа при определенных обстоятельствах может появиться прямая противоположность лучшим намерениям.

Протест против абсолютного пацифизма в Германии касается связанного с ним нейтралитета в отношении кого угодно. Если любая война предосудительна, то пропадает разница между агрессором и его жертвой. Но действительность настолько разнообразна и сложна, что такое различие на деле непросто провести, тем более что вряд ли кто-то может быть уверен в запутанной реальности, что следует исключительно доводам просвещенного рассудка. Пацифизм на деле сомневается в своей безошибочности. Неслучайно он использует этот абсолютный лозунг, появившийся после Первой мировой войны и задуманный как реакция на массовые сражения, которые превратились в монстра и стали рассматриваться как освободившийся от человеческой воли субъект. Первая мировая война воспринимается как природное явление, бессмысленная бойня, до которой державы, как им казалось, совершенно ненамеренно докатились после первоначального радостного воодушевления народов. В конце концов вину переложили на милитаризм и аристократический культ славы и силы. Пацифизм продолжил эту традицию прямоиком до Второй мировой войны. Обе войны стали одинаковыми.

При этом во Второй мировой войне при всем желании нельзя увидеть бессмысленности. Уж какая война и была оправданна, то это война с Гитлером. До этой войны никто не докатился. Как раз наоборот, это была абсолютно намеренная война, война Гитлера, который

даже среди нацифицированного немецкого населения не встречал воодушевления. Все остальные державы, в первую очередь позднейшие противники войны в гитлеровской Германии, испробовали все способы, чтобы избежать войны, вплоть до политического самоотречения. И все же существовала ли какая-то еще возможность воздействовать на дикую решимость диктатора, кроме размещения и применения силы? Если на западном Западе спорят о значении той войны, то не о самом факте ее ведения, а о причинах, по которым военную силу против диктатора применили недостаточно рано.

Абсолютный пацифизм и его кажущиеся менее категоричными ответвления пробудили в широкой общественности подозрение во время войны в Персидском заливе, что в Германии на фоне событий и опыта Второй мировой войны, паноптикума политического языка и метафоры современности происходит что-то вроде принятия запоздалого решения, на чью сторону психологически встать; не за Гитлера, но все же против его тогдашних противников, сил союзников. Тем самым повторяется позиция населения Германии во время войны. Подлило масла в огонь внутригерманского соперничества и то, что война в заливе так изображалась силами коалиции, что напоминала Вторую мировую. Например, требования президента США к Саддаму Хуссейну, близкие к требованиям безоговорочной капитуляции; впечатление возвращения немецкого опыта бомбардировок в операциях американских и британских самолетов и не в последнюю очередь слова союзников, назвавших Ирак «Дрезденом в пустыне» (их обвинили в геноциде, если не открыто, то с осязательно сдерживаемой яростью).

Так, культ абстрактного сопротивления породил парадоксальным образом свою историческую противоположность: против воли собственная, считавшаяся

давно преодоленной немецкая история подтвердилась с помощью идентификации с Ираком, пусть даже и пассивной.

В Германии война в Персидском заливе казалась чем-то вроде поворота от Запада к более полной идентификации с самими собой, на особый путь политической культуры. Если в первые десятилетия республики антиславянская обида превратилась в закоренелый антикоммунизм, то традиционному и усиленному Второй мировой войной аффекту против Запада не было дано пространства и реального объекта для переноса своего проявления. Политическая вплетенность Федеративной части Германии в западные институты слишком хорошо соответствовала реальным интересам населения. Сегодня, после воссоединения частей германского государства, окончания идеологического противостояния Востока и Запада, можно освободиться от этой аффективной дистанции по отношению к Западу. Осуществлению этой потребности помешала война в Персидском заливе. В этом отношении она была также и немецкой войной.

НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИЗМ И СТАЛИНИЗМ. О ПАМЯТИ, ПРОИЗВОЛЕ, ТРУДЕ И СМЕРТИ

В своей книге «The Harvest of Sorrow», вышедшей в 1986 году и посвященной предпосылкам, процессу и последствиям насильственной коллективизации и голода в Советском Союзе в начале 1930-х годов, Роберт Конквест прибегает при описании страданий и нищеты на Украине к образам и метафорам, свойственным вообще описаниям массовых преступлений национал-социализма. Например, он пишет, что на просторах Украины развернулся «один огромный Бельзен»; четверть сельского населения — мужчин, женщин, детей — унесла нищенская смерть; истощенные, умирающие от голода фигуры, лишь искаженные подобия себя самих. И, как в Бельзене, хорошо откормленные полицейские и специальные подразделения партии следят за своими жертвами. Не только массовое вымирание, но и отдаленные последствия преступлений напрашиваются на отождествление. Десятки лет спустя автору «Греха выживания» еще встречались мужчины и женщины с разрушенными жизнями — люди, которые чудом пережили ужасы Украины и страдали психическим расстройством, известным по выжившим в национал-социалистских лагерях.

Предложенное Конквестом отождествление массовых преступлений национал-социализма и сталинизма интересно и по методологическим причинам: вопреки всем обычаям историографии более позднее событие привлекается для оценки произошедшего ранее. Такой

подход указывает на сверхисторическое, почти иконоборческое значение массовых преступлений национал-социализма для западного сознания, сознания секуляризованного христианского мира, для которого образы и метафоры холокоста в их глубинном измерении значат больше, чем простая картина событий.

Проблематично также исторически достоверное иллюстрирование событий. Конквест впадает в заблуждение, когда пытается охватить массовые преступления национал-социализма исходя из визуальных свидетельств «Бельзена». В концлагере Берген-Бельзен перед камерами британских освободителей в апреле 1945 года предстала не та реальность, какую можно было встретить в немецком концентрационном лагере в годы власти нацистов. Запечатленные на целлулоиде истощенные и умирающие фигуры за колючей проволокой — это, главным образом, люди, которых в последние недели и дни войны пригнали на территорию рейха смертоносными маршами с Востока, в том числе из Освенцима. Представшая перед освободителями картина была, без сомнения, реальна, но она не соответствовала настоящей действительности концлагеря. Скорее в этой картине сливаются воедино различные комплексы преступлений национал-социализма: мир концентрационного лагеря и лагеря смерти. Но для потомков в ужасных картинах освобожденного концлагеря Берген-Бельзен оказывается закодирован весь мир национал-социалистского ужаса. Икона Берген-Бельзена олицетворяет крайние формы преступлений национал-социализма, хотя они и совершались в различных лагерях смерти на Востоке. Оставшиеся без визуальных свидетельств преступления против человечества оказываются представлены снимками, которые обязаны своим существованием скорее случайному стечению обстоятельств в последние недели войны — словно кулисе, сместившей время в про-

странство. И все же они остаются приварены к картине воспоминаний о том, что отныне на все времена связано под знаком «Освенцим».

Иконоборческая зарубка исторических образов, их воздействие на сознание, сказываются на толковании истории. Нивелированное у Конквеста в образе «Бельзена» различие концентрационного лагеря и лагеря смерти окажется чрезвычайно существенным для критериев разницы между преступлениями против человечности в этом столетии — национал-социализмом и сталинизмом. В этом отношении интересно не столько запечатленное на целлулоиде в образе «Бельзена» неизбежное заблуждение, сколько историко-теоретические импликации отождествления, которые исходят из почти метафизического значения этого образа. Ведь значение исторической ретроспективы «Бельзена» как смещенного отражения «Освенцима» основывается для Роберта Конквеста на том отождествлении, которое закрепилось за преступлениями Гитлера и Сталина. Очевидно, что автора интересуют не истощенные фигуры за колючей проволокой немецкого концлагеря, они скорее служат стигматизирующей отсылкой к другим преступлениям — здесь это преступления сталинизма.

Сверх того, риторическое использование ужасов национал-социализма для скандализации всех возможных злодеяний претерпевает инфляцию. «Освенциму» удалось стать почти универсально признанной метафорой политического зла. Превратившись в подобный инструмент, массовые преступления нацистов потеряли свое историческое значение. И хотя эта отсылка получает свое реальное значение собственно только в связи с культурным резонатором Запада или секуляризованного христианского мира, она у всех на устах.

Но назло любому внутреннему сопротивлению сравнение преступлений национал-социализма и сталиниз-

ма ни в коем случае не неприемлемо. Оно скорее предлагает себя, как будто напрашивается само собой. И все же при всей готовности ему поддаться закрадываются сомнения. На что нацелено сознание при подобном сравнении? Почему в сопоставлении национал-социализма и сталинизма может содержаться нечто большее, чем простое эмпирическое любопытство? Может, влияет подтекст, значение которого коренится вне простого сравнения? Представляется, что оценка преступления не в последнюю очередь находится в скрытой связи с уже устоявшимся комплексным отношением к главным жертвам национал-социализма — евреям. Заложено в сравнительном дискурсе предположение, что преступления Сталина, если не более, то, по крайней мере, настолько же предосудительны, как и преступления Гитлера, указывает на скрытую связь, для которой сравнение этих преступлений против человечества оказывается просто подтекстом, глубоко укоренившимся как *теологически*, так и исторически, — подтекстом отношения между христианством и иудаизмом.

События, собранные под знаком «Освенцим», не могли вылиться лишь в простое преступление, хотя бы из-за одного только значения, которое в исторически сложившейся длительной памяти Запада принимает иудаизм как секулярное христианство. Здесь сказывается воздействие почти надысторической печати. В этом отношении проект сравнения двух чудовищных преступлений против человечества получает в меньшей степени значение законного исторического любопытства. Скорее они представляются, с одной стороны, немного саморефлексивной попыткой дать успокоение отношениям христианского сознания к иудаизму; а с другой стороны, через образы сравнения продолжается форма христианско-иудейского встречного движения — как будто с помощью сравнения нужно сбросить евреев,

таких определяющих для христологического самопознания, с пьедестала *негативной избранности*.

И все же структура дискурса сравнения напоминает теологическую. Но это измерение тематики не будет прослежено здесь далее. Здесь в любом случае необходимо ограничиться меньшим: например, предположением, что как у строгого отказа от исторического сравнения, так и у его настойчивого требования есть общая черта — тайное допущение, что преступления Сталина более предосудительны, чем преступления нацистов.

Однако этим указанием на сложившийся контекст относительно дискурса сравнения сомнения не исчерпываются. Как *a priori* одиозное с моральной точки зрения, так и сомнительное с этической намерение эмпирически взвесить горе, мучения и смерть придает дискурсу сравнения в политической культуре Германии значение национально-исторической разгрузки. В 40-летний период холодной войны сравнение служило, сверх того, делегитимизации противника в гражданской войне двух немецких государств. Это противопоставление национал-социализма и большевизма также отразилось и на национально окрашенном обыденном сознании, заостря историко-философскую перспективу. На фоне таким образом сложившихся обстоятельств сравнение *nolens volens* всегда отдает партийностью.

Проект сравнения массовых преступлений в текущем столетии — национал-социализма и сталинизма — в любом случае будет окружен аурой одиозности. Но все же необходимо произвести эту попытку, вопреки всем чувствам внутреннего сопротивления и сквозь влияние всех образов и метафор культурного фона.

Но что нужно сравнивать между собой? Какие критерии должны быть применены? Количество жертв, например, или вообще процессы и техники массового убийства? Нужно ли рассчитывать продолжитель-

ность режимов в отношении к числу убитых в поисках вектора времени и количества? Должны ли исследователи использовать при сравнении статистические методы квантификации или предпочесть качественные подходы — и все это для удовлетворения оценивающего сознания, которое хочет наконец получить ответ на требующий приговора вопрос: кто или что было «хуже»?

Нижеследующая попытка избежит подобных постановок вопроса; оценка горя и без того лишена всякой этической допустимости. Смерть переживается исключительно индивидуально, и это устанавливает абсолютную, непреодолимую преграду любой иерархии горя — преграду равенства перед смертью. Это онтологическое размежевание необходимо влечет за собой безразличие жертвы к причинам смерти. А в свою очередь перед живущими — выжившими и рожденными после этого, напротив, встают настоятельные вопросы о *смысле* и значении событий. И более того, только при взгляде, направленном назад, нацеленном на понимание, сознанию открывается такая перспектива преступлений, которая соответствует как их масштабам, так и значению.

Здесь мы сталкиваемся с основополагающей методологической проблемой: по осадку, который оставили массовые преступления в сознании выживших и рожденных после, необходимо сделать выводы о характере самих преступлений. В этом отношении реакция воспроизводящего сознания на события получает *эпистемологическое* значение. Формы реакции на исторические события (каждый раз различные), в свою очередь, служат материалом для намерения понимания — от конкретного опыта, восприятия и реакции современников до форм переработки и преодоления потомками. Вследствие этого категория *памяти* получает то самое гносеологическое значение. И действительно, путь по воспоминани-

ям как задержка взгляда на контуре событий позволяет подольше остановиться и тем самым более тщательно посмотреть на прошлое, чем непосредственный подход, утверждающий, что он смотрит в глаза преступлению. Такая попытка содержит риск потерять отвлеченность, тогда как косвенный подход через память делает возможным подобающее приближение. Субъективный, частный опыт, восприятие, оценка и формы преодоления национал-социализма и сталинизма являются содержанием, историческим материалом, производящим понятия и критерии, которые могут быть объективированы, — по ту сторону оправдания себя и обвинения других.

То есть в памяти, преодолении и переработке заложены эпистемологические критерии для сравнения и различения массовых преступлений национал-социализма и сталинизма. Например, познавательное значение получает то обстоятельство, что изучение и критический анализ преступлений национал-социализма в Германии, несмотря на все разговоры о «фашизме», требует понятия *нации* для соотнесения восприятия и оценки. Соотносительной рамкой для преодоления и анализа сталинских массовых преступлений в бывшем Советском Союзе, напротив, служит, главным образом, понятие *режима*. Важное для памяти различие между нацией и режимом отражает реальное историческое расхождение: в отношении усилий по преодолению национал-социалистского прошлого в Германии речь, очевидно, идет о роковом слиянии режима и нации. Знаменательно здесь то обстоятельство, что к основным жертвам режима относятся в первую очередь те, кто принадлежит к коллективу, считавшемуся немцами культурно и исторически *различным*, и кто, соответственно, был отмечен как «другой». С этим клеймом они попадали в этнифицированную память

национального коллектива, от которого и исходили преступления. В этом отношении преступления национал-социалистского режима отложились в коллективной памяти немцев, а главное, в коллективной памяти жертв как *немецкие* преступления. То обстоятельство, что жертвами коллективного преступления стали, главным образом, не части собственного народа, а представители *другого* коллектива памяти, нашло отражение в рефлексии с помощью преодоления этих преступлений. Несмотря на все различия в ответственности и грузе индивидуальной вины внутри сообщества, преступления национал-социализма воспринимаются из-за феномена слияния режима и нации как коллективные преступления, совершенные в рамках национального контекста, то есть преступления, совершенные не *внутри* собственного коллектива памяти, а в отношении *других*.

В отличие от национально окрашенных преступлений нацистов, сталинизм отмечен другим феноменом преодоления. В конце концов, здесь речь идет о *преступлениях режима*, то есть преступлениях, направленных, главным образом, против *собственного* населения. Это обстоятельство влечет за собой далеко идущие последствия в переработке этих массовых преступлений. В сообществе, в котором преступники и жертвы одинаково принадлежат к одному и тому же историческому коллективу, преодоление злодеяний поневоле происходит *внутри* сообщества — это, так сказать, полемика с самим собой.

Это противопоставление выливается в следующее различие: преступления, жертвы которых находятся *вне* национального, этнического или религиозного коллектива, то есть совершенные в отношении других как чужих, сохраняются в коллективной памяти иначе, чем преступления против жертв из *собственного* сообще-

ства. Восприятие преступлений нацизма находится в контексте понятия «*нация*», а преступлений сталинизма — понятия «*режим*».

Чтобы представить себе значение и действующую силу этого различия как для модуса воспоминания, так и для дифференциации массовых преступлений на основе нации или режима, необходимо гипотетически перенести феномен власти Сталина в германские условия. Только вообразите отношение к национал-социализму в Германии, если бы большинство жертв режима оказались этническими, «арийскими» немцами. Как чувствовали бы себя психологически потомки, если бы их принадлежащие к элитным частям режима отцы (по аналогии со сталинским Советским Союзом) после совершенных преступлений были бы сами массово убиты по соображениям целесообразности для власти? Если бы, например, участвовавшие в акции по уничтожению части СС по завершении преступления сами были бы уничтожены, как это происходило в НКВД, и тем самым причислены к жертвам режима? Не боясь ошибиться, можно предположить, что преодоление преступлений режима, направленных внутрь, против большей части *собственного* населения вызовет совершенно другой дискурс воспоминаний, чем такие злодеяния, которые направлены против других и возлагают вину на собственный коллектив. Впрочем, такое же различие лежит еще и в основе по-разному протекающих процессов преодоления власти нацистов и Штази — в 1945 и 1989 годах.

Непосредственно после 1945 года преступления нацистов рассматривались в Германии как совершенные исключительно в контексте понятия нации. Следствием этого была затаенная солидарность с преступниками. Право вынесения приговора было предоставлено союзникам и оставлено на их совести. Горькое слово

правосудия победителей полностью находилось в плену национального дискурса. 1989-й год — это опять же контекст совершенно другого типа. Совершенно в соответствии с логикой гражданской войны (партия на партию) преступления режима СЕПГ преследовались, а преступники были привлечены к ответственности. И все-таки даже в условиях гражданской войны содержался национальный мотив, хотя и в сдержанном и, кроме того, общественно закодированном виде: на побежденных в идеологическом противостоянии падает, кроме того, еще и тень национального предательства из-за раскола нации и сотрудничества с Советским Союзом.

Но вернемся к предмету нашего разговора: феноменологическая близость двух режимов вряд ли может служить убедительным индикатором для их отождествления. Малоубедительны общепринятые параллели между национал-социализмом и сталинизмом, например утверждение их родства в смысле теории тоталитаризма. Дела Рёма и Кирова, которые постоянно приводят как пример, имеют только одну общую черту, и то маловыразительную, — они произошли в один и тот же год. Похожая на гражданскую войну ликвидация руководителя СА летом 1934 года была для национал-социалистского режима исключительным случаем — стояла необходимость выбора между рейхсвером и коричневыми батальонами. Последовавшие за убийством Кирова чистки, напротив, были показательной для методов сталинского режима закономерностью².

Вырисовывается следующий промежуточный вывод: за массовые преступления национал-социализма, скрещенные с войной, мобилизовавшей нацию, ответствен-

² Например, Ханна Арендт (Arendt H. Ursprünge und Elemente totaler Herrschaft. Bd. III: Totale Herrschaft. Berlin, 1975. S. 145) исходит из этих событий, как и Эрнст Нольте (Nolte E. Der europäische Bürgerkrieg 1917–1945. Berlin, 1987).

но все сообщество, они были совершены против тех, кто либо был отвергнут тотализированным обществом по *этническому* принципу, либо и без того традиционно считался другим или чужим. От преступлений сталинского режима, напротив, пострадали в основном члены собственного сообщества, то есть значительная часть *собственного* населения. Преступления одних были обоснованы «национально», а других — «социально». Разница между горизонтальной, то есть внеобщественной, и вертикальной, то есть внутриобщественной, направленностью в объявлении врагов должна была в любом случае повлечь важные последствия для будущего восприятия и переработки преступлений.

В своей посмертно опубликованной книге «Коллективная память» Морис Хальбвакс замечает, что только партикулярные группы, например нации, обладают исторически передаваемой памятью³. Памяти, выходящей за пределы соответствующего коллектива, по его мнению, не существует. Вследствие этого не может существовать и всеобщего воспоминания, во всяком случае как историографического конструкта. То же можно сказать и о группах, организованных общественно или политически, и об институциональных элементах. Они также не в состоянии сформировать что-то вроде воспоминания, передающего идентичность через поколения и распространяемого исторически. Этому действительно можно найти массу убедительных примеров. Десятки лет прилагалось огромное старание, чтобы построить наднациональную, всеобщую и исторически передаваемую идентичность, например, образовать «рабочий класс». Эти усилия имели мало успеха и, пожалуй, оставались в плену искусственности. Передача подобной

³ Halbwachs M. Das kollektive Gedächtnis. Frankfurt am Main, 1985 (французское издание вышло в 1950 году).

групповой идентичности через много поколений не может состояться хотя бы из-за динамики социальной мобильности. В любом случае важные для воспоминаний исторические атрибуты, связанные с имеющей социальную коннотацию групповой идентичностью, существенно ограничены в своем влиянии. У них просто слишком маленький срок годности.

Похожим образом проявляет себя и способность к пассивным воспоминаниям. Преступления, совершенные против других исторических коллективов, оказываются (также в их искажении через подавление) несущими гораздо больше воспоминаний, чем злодеяния, перенесенные людьми, которых стигматизировали исключительно по «социальным» основаниям. Воспоминание о еврейских жертвах национал-социализма занимает в памяти немцев внешне более высокое место не потому, что евреи якобы более важны, чем цыгане или жертвы эвтаназии. Коллективная память немцев склоняется к такой иерархии воспоминаний о тех или иных группах жертв национал-социализма, потому что коллективная память по отношению к евреям отличается большей продолжительностью и более глубоким воздействием. Сложившееся в течение столетий, христологически обоснованное отношение к евреям служит арсеналом объяснения современности. Так, например, «Освенцим» вопреки распространенному предположению вызывает не только воспоминание о холокосте, но влечет и актуализацию долговременных следов в собственном глубоко религиозном в своей основе отношении к евреям. По сравнению с этим более новое содержание коллективного воспоминания о цыганах менее значимо для собственного самосознания и потому носит скорее внешний характер. Невозможно также по сравнению с рассматриваемыми как исторические коллективы евреями и цыганами найти в коллективной

памяти и передаваемых из поколения в поколение связями в отношении жертв эвтаназии группы жертв, стигматизированных и убитых по «медицинским» основаниям. И в первую очередь потому, что здесь речь идет об *отдельных* людях *собственного* коллектива, в медицинском смысле «социально» стигматизированной группе. Индивидуальная судьба, во всяком случае не передаваемое через поколения страдание, делают жертв эвтаназии стигматизированными разрозненно. Тем самым коллективная память жертв эвтаназии исторически не имеет ни предпосылок, ни будущего. В этом отношении история их страданий не находит исторического резонанса и в коллективной памяти. Их судьба как таковая может быть описана с эмпатией, но не может быть передана коллективной памятью.

Применительно к сравнению и различию массовых преступлений национал-социализма и сталинизма эти рассуждения поднимают следующую проблему касательно исторического запоминания событий коллективного опыта или коллективной ответственности: остается ли в памяти социально мотивированное преступление как таковое, например «уничтожение кулаков как класса»? Оставим в стороне сомнительный вопрос, действительно ли можно говорить о социальном или связанном с сознанием классе зажиточных крестьян в Советском Союзе; встает другой, гносеологический вопрос: был ли вообще в состоянии этот мнимый класс сформировать нечто вроде коллективной памяти, которая содержала бы воспоминания о массовых преступлениях времен насильственной коллективизации и голода начала 1930-х годов в Советском Союзе и хранила бы часть исторической групповой идентичности? Исходя из предшествующих рассуждений, на этот вопрос следует ответить отрицательно. Но ни в коем случае нельзя делать вид, что подобные преступления

совершенно не способны остаться в памяти. Несомненно, о них вспоминают, однако воспоминания эти подавлены и проявляются лишь настолько, насколько позволяет коллективная память *нации*, в данном случае — украинцев.

Хотя не только украинские крестьяне пали жертвами насильственной коллективизации и последовавшего за ней голода, все же «уничтожение кулаков как класса» вспоминается как преступление против украинского народа, то есть как *геноцид*. Общественно обоснованные возражения, что Украина потому больше всего пострадала от насильственной коллективизации, что традиционно считалась наиболее значимым в аграрном отношении регионом России и, соответственно, Советского Союза, вероятно, покажутся апологетической попыткой уйти в сторону от считающегося геноцидом преступления. Коллективная память и национальная историография Украины склоняются к пониманию «социальных» процессов «обострения классовой борьбы в деревне» как выражения намеренно антиукраинской национальной политики Сталина — доказательство этого обстоятельства можно увидеть в том, что параллельно также и украинская интеллигенция подверглась жесточайшим репрессиям.

Похожий феномен наполненной воспоминаниями трансформации массовых преступлений, мотивированных скорее политически/социально, в имеющих национальную коннотацию событиях геноцида можно обнаружить и в коллективной памяти поляков. Восприятие систематических злодеяний против польского народа глубоко укоренилось в передаваемых из поколения в поколение конституантах исторического опыта и национальном самосознании поляков: невозможности уйти от своей трагической судьбы — между Германией и Россией.

Чем бы ни определялись польско-советские отношения, коллективной памятью поляков они воспринимаются как непосредственное продолжение конфликтных польско-российских отношений. Это касается и тех преступлений, которые совершались против Польши преимущественно советским режимом и собственным коммунистическим руководством, а не Россией. Преступления режима оказываются во всех отношениях под знаком национального толкования истории.

Согласно такой оценке, например, глубоко укоренившийся в коллективной памяти поляков массовый расстрел польских офицеров советским НКВД в 1940 году под Катынью вписывается в колею векового противостояния с Россией. Из-за непрерывности коллективного воспоминания именно это событие (а казнены были по меньшей мере 15 тыс. польских офицеров) выступает выдающимся мученичеством польской *нации* в современной истории. Постоянство восприятия подтвердилось недавно, когда ратификация польско-российского соглашения в сейме была отклонена националистическими силами на основании исторического аргумента, что русский народ недостаточно покаялся за преступления в Катыни, как будто русские, убитые в немалом числе при Сталине, или советский режим не понесли ответственность за катынские убийства.

С другой стороны, преступления, совершенные нацистами в Освенциме (хотя по количеству и значению они гораздо тяжелее «Катыни»), для поляков несут гораздо меньше национальной нагрузки, а потому и вспоминаются реже. Это, вероятно, происходит оттого, что жертвами индустриальных массовых преступлений пали не только и не столько *этнические* поляки, а потому и воспоминание о них не может быть полностью полонизировано. В памяти поляков всеобщее негативное

событие «Освенцим» осталось разве что в «католицизированной» виде.

Выборочное воспоминание — это почти неизбежное выражение рационализирующего влияния коллективной памяти. Подобное редуцированное восприятие нельзя отбросить как подлог, тем более что такая перцепция, напротив, отражает особенный характер того или иного преступления. Так, например, качественное различие между геноцидом и теми массовыми преступлениями, которые повлекли гораздо большее количество жертв. То есть преступлениями, совершенными против чудовищного количества отдельных лиц. Например, когда в Советском Союзе Сталин приказал в 1949 году преследовать и уничтожить еврейских писателей, этот акт вполне оправданно интерпретировали и запомнили как предвестник широкого преследования евреев — и это несмотря на то, что гораздо большее количество советских граждан еврейского происхождения расстались с жизнью в период правления Сталина в процессе общих чисток и массового уничтожения. Но коллективное неспецифическое уничтожение людей вряд ли может послужить толчком для появления воспоминаний в коллективной памяти, даже если при этом погибло больше членов какого-то определенного коллектива, чем при преступлении, направленном на коллектив как таковой. Поэтому такие преступления, так же как в случае с жертвами эвтаназии, возможно исторически описать, но вряд ли передать в воспоминании. А как конкретная реальность будет воспринята, запомнена и тем самым какую получит оценку, зависит в значительной степени от оценки конкретного исторического опыта — феномена коллективного воспоминания.

В этом контексте необходимо согласиться с Эрнстом Нольте: по сравнению со сталинизмом национал-социализм представляет собой чуть ли не образец пра-

вового государства. Позже мы еще вернемся к вопросу, насколько такое восприятие происходит из опыта этнических немцев, то есть опыта народа, с нацистской системой. Предварительно можно утверждать, что на самом деле в вопросе такой оценки правового государства следует отметить важное различие между сталинизмом и национал-социализмом: при режиме Сталина потенциально любой мог оказаться подвергнут насилию со стороны режима — без исключений и почти без оснований. При нацистах, напротив, можно было отлично предвидеть, кто окажется жертвой, а кто нет. Если при сталинизме преобладал слепой произвол — *негативное равенство* при постоянной неуверенности, то при нацистах царил негативная уверенность в стигматизации на основании происхождения.

Произвол ведет к господству страха. При сталинизме страх был вездесущ — настоящий режим террора. Боязнь и ужас служили средствами политической интеграции, клеем, который удерживал общество. Насколько основополагающими были страх и террор для советского режима, может продемонстрировать анекдот, авторство которого приписывается Сталину. На вопрос, что он выберет — достичь согласия на основании политических убеждений или простого страха, он выбрал второй вариант ответа. В конце концов, убеждения же можно изменить.

Власть Сталина была в высшей степени тоталитарной — оценка, которая вряд ли подходит национал-социализму. Ибо те, кто обладал необходимыми признаками национального сообщества и не пытался идти против режима, обладали завидной возможностью рассчитывать свое поведение. Ничто им не мешало счастливо жить при национал-социализме. Так и произошло с миллионами этнических немцев. *Слепой* произвол, отличительный признак советского режима, населению

Третьего рейха точно не угрожал. Для жертв режима, стигматизированных на основании происхождения, исключенных из сообщества, возможность рассчитывать готовила совершенно другую судьбу — уверенность в своем устранении или уничтожении.

Эрнст Нольте, на самом деле, прав: по сравнению с господством абсолютного произвола при Сталине, когда жить без страха не мог никто, даже сам Сталин, режим нацистов становится образцом правового государства и предсказуемости. Очевидно, что такое представление совершенно цинично соответствует перспективе национальной общности; и вряд ли стоит объяснять, что такая оценка «правового государства» получила при национал-социализме долгую жизнь и стала масштабом для восприятия истории — во здравие «арийских» немцев, за упокой стигматизированных на основании происхождения.

Итак, выводы о характере каждого режима можно сделать на основании различий в обусловленности смерти его жертв. В нацистской Германии коллективный смертельный приговор был неотвратим, в империи Сталина он достигал произвольно и потому индивидуально. Ибо произвол — это господство *случая*.

В преступлениях национал-социализма случай также имеет свою значимость, только совершенно в другом смысле. В обстановке уверенности в смерти и регулярности уничтожения стигматизированных на основании происхождения выживание носит исключительно случайный характер. Люди, обреченные на смерть у нацистов, возможно, не выжили бы и при Сталине, но уже по причине произвола и индивидуально, а не из-за принадлежности к приговоренному к смерти коллективу.

Различные диспозиции восприятия и опыта могут привести в дискурсе духа времени к парадоксальным соответствиям между национал-социализмом и стали-

низмом именно по причине их различия. Так, позиция Нольте вполне может сойтись с экс-коммунистическими оценками в бывшем Советском Союзе, и получится нечто вроде реализации универсального восприятия в сравнении режимов. Так, с точки зрения немецкой «национальной общности» и сравнительно распространенного «обеспеченного правопорядка» при национал-социализме, как и с экс-коммунистической точки зрения, абсолютный произвол сталинизма кажется гораздо «хуже», чем частично управляемые репрессии при нацистах. Сталинизм потому кажется бывшим коммунистам в Советском Союзе предосудительным, что он принимал меры не только против настоящих противников режима, но и преследовал своих собственных приверженцев. Режим отбирал у своих коммунистических жертв не только жизнь. Так как убивали даже сторонники системы, то и «логика» смерти теряла смысл. Это имеет в виду экс- и посткоммунистический дискурс, когда называет сталинизм более варварским по сравнению с национал-социализмом. И по сравнению со сталинским произволом фашизм как его мнимый противник приобретает некий смысл. Нацизм понимается как простой антибольшевизм в смысле того противопоставления, которое было значимо для Европы 1920–1930-х годов. Биологистическое мировоззрение нацистов остается затемненным вне политического антибольшевизма. Ведь несмотря на уход от антифашистского дискурса прошлого, это мышление остается в плену старого противопоставления, только теперь собственная история и собственное страдание оцениваются ниже в свете преступлений нацизма.

С помощью различия произвола и уверенности, коллективных преступлений и преступлений против множества индивидуализированных лиц и через их выражение в коллективной памяти можно выявить

характерные различия между национал-социализмом и сталинизмом. Чтобы обобщить и уточнить разницу вне перспективы восприятия, необходимо ввести новую категорию — понятие труда.

Труд далее понимается в двух смыслах: труд как производительная деятельность в свете различного употребления, которое она получала при сталинизме и национал-социализме в связи с массовыми убийствами. Наряду с этим труд как выражение застывшей осмысленной деятельности вообще — труд как конкретное выражение общественной рациональности.

Если говорить о труде в связи с массовыми убийствами, то сразу бросается в глаза различие: нацисты применяли труд как *средство* уничтожения людей, а сталинская система принудительных работ мирилась со смертью огромного количества людей от превышения физических сил. Целью такой эксплуатации был продукт труда, человек становился простым средством, которым распоряжались *абсолютно* и с применением силы. По-другому было у нацистов: как правило, в крайнем случае уничтожения вне экономической выгоды труд служил обычным камуфляжем для мнимой выгоды. Такая видимость прикрывала буквальную бессмысленность убийства. Эта рационализация в меньшей степени призвана была ввести в заблуждение и без того лишенных воли порабощенных жертв, а скорее служила защите собственного цивилизаторского сознания от несовпадения с действительностью. Поэтому лагеря смерти стали символом национал-социализма, а трудовые лагеря — сталинизма.

Сверх этого противопоставления возникают оправданные сомнения в экономической рациональности сталинской системы принудительного и рабского труда. То есть система была направлена на эксплуатацию производительного труда — доказательство земной

цивилизаторской направленности, о котором нацисты даже не помышляли. Но в отношении режима вроде сталинского, основанного на произволе, терроре и страхе, может показаться вполне обоснованным то, что труд служил скорее рационализации тотального господства, чем подлинно экономическим целям. Правда, ленинской и в еще большей степени сталинской системе была предначертана историческая конечная цель — ускорить историческое время с помощью строгого развития производительности; а ускорение времени как перескакивание эпохальных ступеней развития включало также и оправдание лишь мнимо намеренного человеческого страдания — то псевдоисторическое признание «первоначального накопления» *post tempore*. Такое телеологическое оправдание почти безграничной власти как двигателя экономического прогресса послужило скорее не развитию и общему благу, а историко-философскому признанию тотального господства. В любом случае в рамках экономической целесообразности рабский и принудительный труд никак не мог оказаться адекватным. Еще Адам Смит в классическом «Исследовании о природе и причинах богатства народов» писал, что труд рабов, несмотря на все внешнее впечатление, окупает только затраты на его содержание, самые дорогие из всех. Так, человек, который не может приобрести собственность или выставить на продажу свой труд, не в состоянии иметь какие-либо другие интересы, кроме как есть как можно больше и работать как можно меньше. «Заставить его сделать больше, чем необходимо для его содержания, возможно только путем применения силы, но никак не стимулирования его собственного интереса»⁴. Этот почти антропологический принцип полностью доказывается организацией труда в период

⁴ Smith A. Der Wohlstand der Nation. München, 1978. S. 319.

расцвета сталинского Советского Союза: производительность рабского труда в 1930–1940-е годы была почти на 50 % меньше, чем «свободного»⁵.

Как бы ни обстояли дела с продуктивностью принудительного труда в сталинском Советском Союзе, сомнения в мнимой экономической целесообразности подобных средств принципиально отличаются в своей основе от применявшегося нацистами простого уничтожения вне всякой экономики. Исходя из понятия труда как выражения *застывшей рациональности* нацисты в характерных для них лагерях смерти создавали продукцию не *стоимости*, а *смерти*, в отличие от продукции сталинизма, далекой от рациональности, но все же понимаемой экономически.

Значение труда как безусловное различие между массовыми преступлениями национал-социализма и сталинизма можно проследить по реакции жертв системы. Их акты сопротивления получают значение немого языка, имеющего познавательную ценность для восприятия.

Наблюдения и опыт заключенных советских трудовых лагерей показывают, что акты сопротивления сводились в основном к отказу трудиться на режим. Действенным методом рабов режима было членовредительство. С помощью увечий приговоренный к принудительным работам как бы негативно вновь обретал возможность самостоятельно распоряжаться своей рабочей силой, которой его лишила государственная монополия. Уничтожение важных для работы членов своего существа отбирало у государственного аппарата то, что он до этого захватил с помощью актов принуждения, террора и произвола. Уничтожение естественных орудий

⁵ Dallin D. J., Nicolaevsky B. I. Forced Labor in Russia. New Haven, 1947.

труда тем, кого ограбило государство, раскрывает экономически мотивированный смысл этой власти: всеми средствами завладеть трудом порабощенных людей, вплоть до смерти его материальных носителей. Произвол власти в сочетании с неограниченной возможностью мобилизации рабочей силы гарантировал почти неисчерпаемый приток человеческого материала и его использование. Тем самым появляется не ограниченная никакими моральными или институциональными преградами готовность пробить абсолютную, то есть физическую, границу эксплуатации вплоть до смерти.

Совершенно другой тип представляют собой акты сопротивления при национал-социализме. Необычно, что они происходят *не* в области захвата рабочей силы. То есть национал-социализм тоже прибегал с большим размахом к принудительному и рабскому труду, в основном посредством эксплуатации лиц других национальностей, не немцев. И все же принудительный труд не является специфическим признаком нацистского режима, так как для режима было показательным простое уничтожение без эксплуатации рабочей силы. В лагерях, где заключенные *еще и* работали, а не уничтожались сразу после прибытия (что и так уже не оставляло им никакой возможности действия), они часто реагировали на приближающуюся потерю трудоспособности от голода, истощения или болезни самоубийством на колючей проволоке под током. Такая реакция указывает на очень убедительное обстоятельство: «свобода» индивида в условиях планомерного уничтожения вне экономической целесообразности заключается только в выборе способа смерти, а не в выборе между жизнью и смертью. То же самое можно сказать и о сопротивлении в еврейских гетто, где видимость нормальной жизни внушала веру в существование свободы выбора, а также ввиду коллективной

обреченности на смерть, приговора, который был вынесен всем евреям без исключения, — той уверенности, которую была им уготована нацистами. Вооруженное сопротивление никогда не могло иметь целью сохранение жизни, а только выбор способа смерти.

Труд был для жителей гетто только средством отсрочки неизбежного наступления смерти, способом продления и без того *отнятого* у них времени жизни. Насколько основательно нацисты попрали основные положения всеобщего договора путем производства смерти, а не стоимости, делает понятным утверждение, которое записал в своем дневнике в октябре 1942 года председатель «еврейского совета» гетто Белостока. Он говорит об отчаянии, которое охватило его по поводу неблагоприятия врачей. Ведь врачи действовали в соответствии со своей этикой, применимой к нормальным социальным условиям, и пытались освободить от работы больных туберкулезом. «Еврейский староста» пишет: «Врачи не понимают, что сегодня люди погибают не потому, что болеют туберкулезом, а потому что не работают»⁶. Чистый труд не может уже рассматриваться как утилитарная альтернатива смерти. Его цель состоит в том, чтобы на время отсрочить приход смерти. Этот вид труда был лишь видимостью.

⁶ Опубликовано в книге: Dawidowicz L. A Holocaust Reader. New York, 1976. S. 273–287.

АНТИФАШИСТСКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ. НЕКРОЛОГ

С концом ГДР сошла в могилу и идеологическая основа этого сообщества — антифашизм. Это позднее ироническое подтверждение объявленного материалистического самовосприятия: крушение заявленного как социалистическое государства опровергает и его теоретическое основание, о котором ранее говорили, что оно верно. Не позднее кончины ГДР выяснилось, что и ее считавшееся антифашистским основание исторически неверно. В сущности, не требовалось такого радикального доказательства, как аннулирование основанного на мировоззрении государства, чтобы доказать, что этого идеологически нагруженного антифашизма не существует. С самого начала он был настолько же фальшивым, насколько это государство в нем нуждалось. Парадоксальное искажение: общество ГДР нуждалось в самосознании, противопоставленном фашистскому опыту ее немецкого населения и, следовательно, фиктивном; и это самосознание вылилось прежде всего в отречение от реального национал-социалистского прошлого. Так, центральное событие национал-социализма — массовые убийства в лагерях смерти — оказалось в значительной степени вырезанным, по крайней мере не получило соответствующего своему реальному значению внимания. Все мировоззренческие планы антифашистского самосознания не доходили до факта массового уничтожения, и идеологическое толкование национал-социализма оставалось в лучшем случае в высшей степени недостаточным.

Беспощадно откровенная действительность выявила очевидное опровержение антифашистских основ ГДР. При этом действительность не останавливается на простом познании. Ущерб, нанесенный этой экзистенциальной ложью, выходит далеко за пределы непосредственного воздействия нагромождения лжи. Так, в сознании обманутых антифашистской ложью оказывается опровергнутой и та правда о преступлениях национал-социализма, которая замалчивалась, например, массовое уничтожение. Хотя массовое уничтожение и не попадало в поле зрения монополизированного толкования всех явлений национал-социализма как фашизма, оно все равно испытывало на себе разлагающее воздействие этого комплекса восприятия. Так, прошлое оказалось за двойной завесой: во-первых, господствовавшей ранее партийной интерпретацией национал-социализма как фашизма; а во-вторых, защитной реакцией на дезавуированный антифашизм всего того, что касалось сферы опровергнутой господствующей идеологии, следовательно, и массовых преступлений (ранее практически игнорируемых).

Последствия распада антифашистского самосознания проявляются не только на территории бывшего ГДР. Они распространяются и на тех, кто при всей критике и дистанцированности от другого немецкого государства в бывшей Федеративной Республике исповедовал антифашистские истины. Ибо самосознание левых, какого бы происхождения оно ни было, не могло остаться незатронутым исчезновением ГДР. Как будто от разлагающегося тела восточногерманского общества и его исторической основы — антифашизма — исходит трупный яд, который поражает все, что, пусть даже идиосинкразически, причисляло себя к этому комплексу. Такое кардинальное действие исторического опровержения проливает примечательный свет на фундаментальное

значение того, что при всем нескрываемом антагонизме по отношению к ГДР было общим для антифашизма.

Что понимается под антифашизмом, этим ядром самосознания левых, приобретшим в Германии более идентифицирующего значения, чем где бы то ни было? Представляется, что политическая и историческая сила восприятия этой формулы имеет гораздо более фундаментальный вес, чтобы можно было исходить лишь из аналитической ценности или малоценности ортодоксальной теории фашизма. Последняя предполагает почти органическую связь между капиталом, кризисом капитализма и властью фашистов, которую необходимо подавить в смысле социалистической трансформации либо как открытый фашизм, либо как потенциально скрывающее в себе фашизм буржуазное общество, и по-другому относится к семантической и политической иконографии антифашизма после 1945 года, в первую очередь в СЗО/ГДР. Благодаря контексту опыта национал-социализма, воспринятого как фашизм, и специфическим обстоятельствам его вооруженного подавления, а также действиям Советского Союза, произошло изменение значения этого понятия, приблизившее его, особенно в Германии, к моральной категории. Это слово все еще используется для политической оценки исторических процессов в эпоху власти фашистов, но свое настоящее определение оно получило только после 1945 года.

Ввиду этого изменения значения образовалось две семантические струи: во-первых, глубокое изменение в восприятии Советского Союза после его победы над нацистской Германией; при этом его социалистические основы отходят на второй план, а все больший вес приобретает его военный триумф над врагом, воспринимающим себя по национальности и мировоззрению. Двойная победа — над фашизмом и над Германией.

Во-вторых, в сообразное восточногерманскому понимание антифашизма входят представления о минимальных общественных условиях, которые должны предотвратить повторение фашизма, не стремясь при этом к социализму. Тем самым утвердилось широкое объединение различных общественных и политических сил, приведшее к появлению понятия партий антифашистско-демократического блока.

С помощью первого компонента нового понятия антифашизма распространилось представление о Советском Союзе, которое больше ориентировалось на май 1945 года, чем на октябрь 1917 года. Тем самым Советский Союз получил послевоенный бонус, далеко выходящий за пределы сторонников коммунистической партии. С немецкой точки зрения, в этой солидарности с Советским Союзом опять же скрестились два направления: во-первых, национальный компонент коллективного признания вины за нападение национал-социалистской Германии на Советский Союз в 1941 году и уничтожительную войну, последовавшую за ним. Это признание вины прочно вошло в коллективную память, где Вторая мировая война попала в социально-критическом плане в один контекст восприятия с Первой мировой. В обоих случаях исходили из империалистической агрессии, чтобы, следуя советской патриотической точке зрения и национальным целям, сгладить различия между двумя мировыми войнами. Признанная вина немцев и, соответственно, правящих классов, а также якобы одинаковые цели войны вильгельминизма и гитлеризма скрывали как очевидную разницу немецкого и русского режимов, так и различные цели Германии в обеих войнах, не говоря уже о методах ведения войны. То, что в обоих случаях речь идет о наступлении Германии на Россию, еще не делает их идентичными историческими феноменами. Точка зрения советского патриотизма и

производного от него антифашизма уравнивает значимые исторические различия, так как из-за непрерывности внутринациональных отношений советское понятие отечественной войны имеет обратную силу во времени, позитивно связывая антифашистским пафосом Советский Союз с его предшествующей историей. Эта точка зрения делает 1945 год масштабом исторической оценки, под весом которой прогибается вся история Германии.

После 1945 года определяющий сознание вес победы советского оружия над национал-социалистской Германией и тем самым над нацией и режимом обогащается еще одним, главным образом историко-философским элементом, который внес значительный вклад в построение специфического антифашистского самосознания как схемы мировосприятия. С коммунистической и прокоммунистической точки зрения, победа советского оружия — это не только справедливый итог справедливой войны, но и доказательство триумфа одной общественной формации, имеющей очевидное преимущество, над другой, уже отжившей. Тем самым победа Советского Союза подтверждает как преимущество социалистической системы, так и связанное с ней историкотелеологическое восприятие мира. И для этого не нужна развитая материалистическая эпистемология. Заданная действительность совершенно интуитивно получила значение историософской божьей кары.

Благодаря этому послевоенному бонусу Советского Союза, как бы он ни был обоснован, антифашизм получает в немецком контексте значение благого приобретения для этой страны и ее системы. Не будем в данном контексте изучать, был ли этому противопоставлен какой-либо антизападный аффект. Во всяком случае действие этого антифашистского «мировоззрения» распространялось далеко за пределы лагеря политического антифашизма. Его последствия разнообразны. К самым

фатальным относится комплекс заблуждений философизма, который упорно замалчивал преступления сталинского режима.

Такое мощное сопротивление появилось, вероятно, из-за ложного предположения, что даже простое признание этих преступлений оправдывает национал-социализм и фашизм — минус для Советского Союза необходимо превращается в плюс для Гитлера. Такие манихейские заключения получаются не в последнюю очередь из специфического опыта германской истории. В конце концов, в период Веймарской республики фашизм и большевизм противостояли друг другу, как в гражданской войне. И как нигде больше, власть одного сменила власть другого, пусть даже только в одной части страны. Из-за такой непосредственности дискурсы обоих режимов и их ведущие идеологемы врезались в сознание вплоть до культуры повседневности. Они выражаются в наполненных мировоззрением сравнениях и ищут лазейки в спасительном подведении итогов. Высшей точкой противостояния стала идентификация со стороны теории тоталитаризма режима ГДР с Третьим рейхом, а со стороны марксистско-ленинской теории фашизма — объявление Федеративной Республики логическим и историческим продолжением фашизма.

Таким образом, в антифашизме, лежавшем в основании ГДР, соединились два центральных элемента: нерушимая клятвенная верность Советскому Союзу, подпитываемая и впредь послевоенным бонусом от победы над фашизмом, и социально-политически укоренившиеся необходимые условия предотвращения всего того, что считалось предпосылкой фашизма, — «империализма», «милитаризма», «реваншизма». Апеллировавшие к этому антифашистские союзы в республиках Восточной Европы, в первую очередь в бывшем ГДР, объясняли поначалу отмену частной собственности на средства

производства не построением социализма, а, скорее, всеобщим согласием на основе антифашизма. «Крах монополий», обобществление земельной собственности помещиков и т. д. происходили, следовательно, не по нормам социалистического планирования, а, скорее, согласно понятиям коммунистической теории фашизма, которые основывались на идее, что господствующие классы были непосредственно ответственны за приход к власти Гитлера и развязывание войны. Следовательно, общественные условия для предотвращения фашизма и войны позволяли всем «легитимным» партиям в ГДР исходить из основополагающего антифашистского согласия, не подписываясь при этом под социалистической направленностью. Антифашизм как государственная доктрина ГДР делал тем самым возможным скрестить элементы коммунистической социальной теории и практики со специфической немецкой точкой зрения на победу Советского Союза и ее исторические последствия. Поэтому ГДР была в меньшей степени социалистическим, чем преимущественно антифашистским сообществом. Из-за этого антифашистского кредо ГДР оказывалась противопоставленной как гитлеровской Германии, так и Федеративной Республике, которая из-за капиталистического устройства позиционировалась почти как возвращение фашизма. Критика Западной Германии, благодаря идее экономической непрерывности, пользовалась совершенно антифашистской риторикой. Кстати, для нее пришлось также и преемственность элит. Пропагандистски раздутый намеки на роль Глобке и Оберлендеров в политическом устройстве Федеративной Республики вполне мог показаться убедительным — преемственность личностей, казалось, подтверждает и тезис о структурной непрерывности. Но такое скандальное обобщение Федеративной Республики служило скорее тривиализации национал-социализма.

... в ... монополиях и с

Западная Германия, заклеянная таким образом за фашизм, причислила к антифашистам и своих левых, критически относящихся к коммунизму. Тем самым она стала сообщником ГДР, пусть и непреднамеренно, но, с историко-философской точки зрения, последовательно; и это не мелочь, ведь речь идет о претензии на национальную идентичность. Поэтому ГДР, при всех ограничениях и несмотря на то, что она находилась в гораздо худшем положении, чем Федеративная Республика, все же считалась лучшей. Эта подлинность символизирует гайную иуповину, связывающую западных левых с ГДР. Поэтому неудивительно, что первые подверглись воздействию трупного яда, исходящего от разлагающегося тела вторых. И это несмотря на все ограничения, поставленные системе настоящего социализма.

Антифашизм в ГДР являлся государственной доктриной. Это понятие предполагает, что общество получает исключительно историко-философское основание. Носителем суверенитета и политической воли является не население государства, а отлитые в сознании исторические предположения, которые как мифы творения создают образ фашистского прошлого и его монополизованную интерпретацию, а также утопические картины коммунистического будущего. Легитимация на основе исторически сложившегося мировоззрения была не просто чужда ГДР, а прямо противоположна ее синтетическому самосознанию. Хотя даже история ГДР знала фазы роста национализма, легитимация политического сообщества все же в основном опиралась на общечеловеческую конструкцию. И какой бы привлекательной ни могла бы показаться подобная основа, но при крушении этой конструкции, построенной на специфическом прошлом и его интерпретации (фашизм/антифашизм) и на спасительном будущем (коммунизм), такое лишь политически мотивированное общество теряет само

свое право на существование. Польша, Венгрия, Болгария и другие социалистические страны после крушения ни в коем случае не потеряли своей сущности политических сообществ. Иное дело — ГДР. Кроме основополагающей интерпретации национал-социалистического прошлого как фашизма, ГДР не могла представить никакой другой легитимации для своего существования, ведь она с самого начала ощущала себя исторически и социально-политически соразмерным ответом на немецкий фашизм.

То есть для ГДР идеологически выгодная интерпретация национал-социализма как фашизма была экзистенциальной, в то время как Федеративная Республика, несмотря на все иные уверения, воспринималась скорее как улучшенная Веймарская республика. Ее направленность определяют не национал-социализм или выводы, которые следует сделать из фашистского прошлого. Отцы-основатели Боннской республики в большей степени стремились избежать тех ошибок, которые, согласно господствующему пониманию истории, привели к крушению первой республики. Правда, интерпретация истории и здесь выполняла функцию дополнительной конституции, как например, предположение, что Веймарская республика стала в равной степени жертвой как левых, так и правых радикалов, а основным законом, таким образом, стал ужесточенной на основе веймарского опыта конституцией. Но в отличие от основ антифашизма в ГДР здесь речь идет о гегемонии образа истории, ни в коем случае не о экзистенциально связывающей историко-философской основе как государственной доктрине.

Исключительно историко-теоретическая легитимация — это действительно крайне непрочная основа. Из-за этой слабости ГДР приходилось ревностно защищать антифашистское ядро своего общества от любых возра-

жений. В первую очередь от таких возражений, которые описывали и толковали немецкий фашизм главным образом как национал-социализм. Поэтому историческая наука была передовой линией обороны ГДР, особенно современная история, а в ней историография национал-социализма как фашизма. Общество защищалось, главным образом, на два фронта: с помощью уже упомянутой догматизированной гипотезы, что фашистская партия не была самостоятельной, а действовала исключительно как слуга капитала, то есть фашистская власть — это производный феномен. Органически связана с этой другая линия обороны, хотя она и носит совершенно самостоятельный характер. Из-за деликатного значения о ней не кричали во все горло, а, скорее, сдержанно умалчивали: это интерпретация, отрицающая «окончательное решение» вне экономического восприятия.

Не то чтобы в ГДР и в контексте антифашистского самосознания оспаривалось массовое уничтожение людей при национал-социализме, но общество базировалось на доктрине, в которой значение этого прошлого было основополагающим для настоящего и будущего. Но постоянное институализированное обращение к этому самому прошлому, основополагающее для государства воспоминание о фашизме, опровергало обстоятельство массового уничтожения через заклеянное антифашизмом воспоминание таким образом, что они оказались отеснены на периферию восприятия единым экономическим толкованием событий. Это привело к крайне парадоксальному результату: любое упоминание массовых уничтожений как центрального события немецкого фашизма вне экономической целесообразности означало не только отклонение от догматического понимания истории, но и, в конце концов и главным образом, могло рассматриваться как посягательство на историко-теоретические основы восточногерманского общества.

Признание факта массового уничтожения как центрального события национал-социализма вне всех остальных событий, центральных для антифашистского сознания, например, преследования политических противников нацизма или рабского и принудительного труда, доведившего до смерти, было не только невыгодным для официального понимания истории в ГДР. Оно, скорее, подвергало фундаментальной опасности основанные на привычном фашизме догматы общества. Коллективная память жертв, убитых нацистами не по политическим мотивам и не экономически обоснованной эксплуатацией, а только из-за их происхождения, сталкивалась с официозным, основанным на государственном антифашизме самосознанием ГДР. В реальности национал-социалистского лагеря такое различие тоже повлекло бы определенные последствия, ведь политические заключенные старались избежать опасной для жизни конфронтации, чтобы сохранить свои кадры на будущее, тогда как жертвы, стигматизированные по мотивам происхождения, были приговорены к смерти независимо от своего поведения и тем самым обречены действовать без оглядки на будущую жизнь и свои ожидания. Драматизм этой двойственной реальности оставался в памяти каждой группы: антифашистское восприятие национал-социалистского прошлого и политические выводы антифашистской направленности из этого прошлого противостояли воспоминанию о негативно радикальном ядре массового уничтожения — уничтожение вне всякой экономической целесообразности и политического угнетения следовало игнорировать. Примат антифашизма, в конце концов, вытеснил Освенцим.

Из-за антифашистского ограничения исторические воспоминания в ГДР свелись к политическому сопротивлению и его политэкономическому эквиваленту —

теории монополий. Прославление сопротивления КПГ соответствовало теории фашизма или, соответственно, теории монополий на уровне восприятия. В историко-философском плане мифологизация истории КПГ и связанная с ней телеология («после Гитлера — мы!») нашла свое отражение в образовании ГДР. Такая историческая конструкция и связанная с ней реальность германского социалистического государства должна была сказаться и на сознании идентичности левых в Западной Германии.

Не то чтобы критически относящиеся к коммунизму левые не высказывали существенных претензий по отношению к ГДР. Реальность социалистического государства всеми фракциями была объявлена политическим предательством по отношению к идее как утопии. И все же оружие критики использовалось крайне сдержанно. Причем не только из-за распространяемой ГДР политической иллюзии о себе, хотя они и имели влияние, которое нельзя недооценивать. Гораздо сильнее, чем давление антифашистской солидарности, оказывал почти конститутивное влияние предшествующий ему и обязательный для всех левых анализ национал-социализма как фашизма. Левым в материалистическом смысле мог быть признан только тот, кто придерживался восприятия фашизма как имманентной составной части капитализма. Обязательное согласие как теоретический пропуск было заложено настолько широко, что это восприятие охватывало почти все общественные явления и стратегические соображения.

Тем опаснее должна была выделяться интерпретация немецкого фашизма, помещавшая массовое уничтожение вне экономического контекста восприятия и понимания. Такие интерпретации не становились благодарным инструментом в руках политических противников. Скорее интуитивно чувствовалось, что уничтожение

органического соединения капитализма и фашизма и связанное с ним экономическое истолкование массового уничтожения заново актуализировало бы не только проблему индивидуальной вины и ответственности как коллективную проблему Германии. В гораздо большей степени за опровержением тезиса о прочной связи экономической выгоды и нацистских массовых уничтожений проступала угроза аннулирования дающих надежду историко-философских постулатов. Именно после 1945 года толкование национал-социализма как фашизма, к которому обратились коммунисты и другие левые, приобрело жадно подхваченную перспективу веры в прогресс. И это после радикального исторического опровержения — Освенцима. Тем более следовало взять ужас под теоретическую опеку: неудобная ссылка на то обстоятельство, что Освенцим пережил всю позитивно направленную философию истории, всю веру в побуждающие к действию историко-телеологические постулаты, была воспринята как посягательство на личную и политическую идентичность и отражена с соответствующей яростью.

Антифашизм предоставлял различные возможности прикрытия от воспринимаемых как теоретические предположения толкований Освенцима вне всякой экономической выгоды. Массовое уничтожение могло интерпретироваться как классовое дело, в первую очередь классов, исторически потерпевших поражение; можно было продемонстрировать настоящих и мнимых фашистов для собственного политического убеждения. Этой политической идиосинкразии следовали ради собственной внутренней безопасности: по линии антифашизма общество делилось на хороших и плохих, на друзей и врагов. Не только в Германии, но и за пределами своего культурного и политического горизонта она использовалась для рационалистического восприятия мира. Но

с этим теперь вроде бы полностью покончено. С концом ГДР распалась и идеология антифашизма. Но антифашистская нагрузка национал-социалистского прошлого как фон для собственного самосознания распространяет гибель этих легитимирующих основ далеко за пределы круга их верующих носителей. Опровержение антифашистской монополии на толкование прошлого, кажется, заразило и его самого.

КОНТРАФОБИЯ. О СУЖЕНИИ ПОЛИТИКИ

Предательство — дитя XX века. Нельзя сказать, что оно встречается только в столетие мировой гражданской войны. Все же предательство, подобно антропологической константе, слишком прочно вошло в основу человеческого поведения. Как таковое оно настолько же древнее, насколько хватает памяти *zoon politikon*. Но речь пойдет не об этом тривиальном значении слова, не об обмане и злоупотреблении чужим доверием ради собственной выгоды и в угоду собственной алчности. Скорее имеются в виду мотивы политического предательства в глубоко идеологизированную эпоху.

Политическое предательство в идеологизированную эпоху носит совершенно особенный характер. Так, бросается в глаза, что ему свойственны признаки настоящего конфликта с совестью, точно как в строгих вопросах веры. Также и требовательность преданного дела приближается по форме и логике к теологическому образу. Во всяком случае, когда речь идет об идеологическом предательстве, почти всегда присутствует нарушение окончательного обоснования. Уличенный в предательстве должен быть готов к реакции самопровозглашенных защитников веры, которые будут не столько спорить по сути, сколько обвинять его в измене.

Дух идеологизированной эпохи секулярных войн веры отличает парадокс. Он основывается, с одной стороны, на свободе индивида по собственному усмотрению примыкать в политических вопросах к позициям той или иной партии того или иного направления. С другой стороны, свобода самоопровергающегося выбора полу-

чает имманентное догматическое ограничение, форма которого проникает в мир свободы из древности: это та, похожая на теологическую, структура дискурса *a priori* заявленной, обычно нагруженной морально претензии политической партийности на истинность с заданными строгими нормами поведения. Только на этом фоне мотив предательства приобретает свое полное современное значение.

В XX веке могут быть преданы различные истины. Но в основном здесь речь может идти об истинах, связанных с основанным на философии истории понятием социального класса. Тем самым проявляется следующий парадокс предательства в XX веке: в то время как социальное в современности будто обречено на непостоянство и изменения, идеологическое понятие класса требует политической стойкости по отношению к социальным переменам. Но противопоставление социальных изменений и политической стабильности почти неизбежно приводит к политическому предательству. И более того, изменчивая природа социального постоянно ставит политическую стабильность под подозрение в предательстве. Поэтому предательство почти имманентно предварительно заданным истинам при условии ускоренных социальных перемен и свободы сознания.

Свобода предает не только телеологическую целостность класса. Она кажется предательской и тем, кто объединяет политические лояльности, связанные с происхождением. Поэтому типичными формами предательства в XX веке оказываются предательство класса и предательство этнически организованной нации с одним немаловажным различием: предательство историко-философского понятия класса принадлежит, вероятно, к распространенному виду измены идеологическим постулатам, ведь как признание, так и отрицание в значительной степени подчинены разумному выбору.

Ренегатство, политически стигматизированная измена считавшемуся истинным мировоззрению, является мотивом интеллектуального предательства в XX веке. Эмпирически оно попадает в основном на период 1940–1950-х годов, когда с некоторым опозданием, вызванным обстоятельствами эпохи, коммунистическая интеллигенция Запада наконец узнала о сталинском терроре и лагерях и отвернулась от прежних ценностей, скорее, даже приняла сторону политизированных свобод Запада. Слишком много чести для этого давно устаревшего образца предательства коммунистическими интеллектуалами идеологической партийности, если бы ему уделяли внимание в контексте современного дискурса. Отличия от 1940-х и 1950-х годов очевидны. Поэтому обвинение в предательстве или похожем на предательство отказе от идентифицирующих политических позиций происходит сегодня уже не в контексте идеологического противостояния Востока и Запада, свободы и равенства, социализма и капитализма, а парадоксальным образом в момент распада этого дуализма. Но без влияния завещанного прошлым дуалистического мировоззрения мотив предательства теряет основополагающий для него момент изменения партийности. Вместе с классическим образом предательства совершенно необоснованным после окончания мировой идеологической гражданской войны оказывается и упрек в совершении этого предательства. Он в лучшем случае будет риторическим продолжением подтекста ушедших эпох — притворство, не имеющее никакой исторической ценности.

И все же после падения коммунизма и последовавшего за ним объединения Германии стали говорить о настроениях, позициях и тенденциях, которым присущ не просто оттенок созданного по меркам прошлых истин и ныне приближающегося к окончательному распаду. Некоторые неформальные лидеры совершенно

очевидно обращаются к национальному. Другие в свою очередь реагируют лишь подобающе прагматично на изменения, связанные с концом идеологической мировой гражданской войны Востока и Запада и начавшимся вслед за ним превращением бывшей ФРГ из огосударственного общества в сообщество Германия, коннотированное, скорее, национально. В отличие от руководствующихся старыми принципами хранителей былых истин они принимают любое изменение парадигмы от общества к нации.

Все те, кто все еще стабильно считает себя левыми, реагируют политически корректно на обе разнонаправленные тенденции одинаково тревожно. Причина этого очевидна: сознание, связанное старой парадигмой, охватила паника, и оно чувствует себя задетым расслоением когда-то одинаковых точек зрения, ведь для него всегда на первом месте стояла не политика, а сохранение с трудом найденной и в высшей степени хрупкой партийной самооценности — той самой идентичности, которой оно присягало. При этом сложившийся в 1970-е годы слой постоянно упускает из виду причины своего неудержимого падения — смену парадигмы от Федеративной Республики к Германии. Из слепого упрямства сопротивляясь новой реальности и подавляя с криком о предательстве любой новый вызов, появляющийся из своей разрушающейся массы, этот *juste milieu* безыдейным морализаторством благоприятствует новым герольдам национальной традиции, сомнительное влияние которых остается без внимания, по сравнению с теми, кто по необходимости признает изменения, произошедшие вследствие объединения, чтобы на этой непрошенной основе сохранить всю Германию для политической культуры Запада.

Бессилие сознания левых, не способных признать значение фундаментального разреза для общества, про-

ливает запоздалый свет на историю своего происхождения. Этот последний отказ принять новую реальность совершенно ясно дает понять, по какому тонкому льду собственного самосознания левые всегда ходили. Кажется, что вся уверенность сконцентрировалась на одной узкой линии обороны. Если она не выдержит — все пропало. Очевидно, что такое принципиальное мышление направлениями делает недоступным всякое восприятие политической дифференциации и трансформации. Все зависит от существования политической идентичности. Неудивительно, что это мышление противоположностями воспринимает всякое прагматичное действие как предательство.

Принципиальное мышление порождает на практике драматические замыкания. Во всяком случае, это сознание можно, полемически заостряя, назвать контрафобией. Под контрафобией понимается феномен радикальной психической реакции, который, по всей вероятности, обязан своим происхождением историческому влиянию национал-социализма. Существует предположение, что многие в Германии присоединились к левым для того, чтобы избежать биографического или какого угодно другого сближения с этим инкриминируемым прошлым. Казалось, что благодаря ориентации на политические позиции, прямо противоположные фашизму, можно избежать как его возвращения, так и опасности поддаться его притяжению. Но такое безальтернативное противопоставление увлекает сознание в ловушку, которая ведет к поляризации и сужению политики. Линии политической традиции вне противопоставления фашизма и его антипода при этом вообще не попадают в поле зрения. Следствием такого сужения является опять же мировоззрение типа «или-или». Этот вертекс ложной радикализации прокладывает дорогу идеологическим искажениям с трагически парадоксальными

последствиями: то, от чего человек убегает, стараясь избежать возможного повторения прошлого, символически осуществляется под маской своей мнимой противоположности.

В целом приведенный пример может показаться преувеличением, но в феномене РАФ выходящее за пределы левого терроризма влияние контрафобии находит парадигматическое выражение в парадоксальной амальгаме противопоставления и повторения. РАФ доводила до карикатурной крайности мотив протеста против фашизма — ее протест оказался смещен во времени, носил догоняющий характер и имел ложный объект. Тем самым ведомая невидимой рукой РАФ с применением якобы социально-революционной силы исполняла последний завет, данный вервольфу, — борьба с американскими захватчиками Германии и их местными прислужниками.

Заставляет задуматься то обстоятельство, что в 1970-х и начале 1980-х годов именно в странах фашистского ядра, бывших державах «оси» — Германии и Италии, свирепствовал терроризм, считающий себя социально-революционным. По всей видимости, реакции контрафобии особенно в европейском контексте находятся в связи с современным влиянием исторических образов, в основе которых лежит соответствующий коллективный опыт Второй мировой войны и совершенные на его фоне массовые преступления. Особенности тогдашнего положения каждой страны находят отражение в современной политической культуре. Например, Франция, которая находилась в сумеречной зоне между коллаборационизмом и скорее периферийным сопротивлением, в 1970-е годы, что интересно, не знала какого-либо значимого политического терроризма. Это можно объяснить тем, что реакция на проблемы своего прошлого через обращение к радикальным левым скорее всего имела место ранее и под другим знаком. Согласно

Ле Руа Ладюри, чей отец занимал пост министра в правительстве коллаборационистов, дети режима Виши сразу после 1944 года вступили в КПФ.

Реакция контрафобии на прошлое имеет множество лиц. В основном она происходит на фоне политической культуры, в каждом случае различной. Во всяком случае, в Германии контрафобическое сужение политики выражается в обобщающем представлении о фашизме, стирающем все различия, и в такой же обобщающей идентификации с его мнимой противоположностью. Все возможные варианты позиций, выдаваемых за гражданские, попадают под вердикт органического скрещения с преступлением. Это верно и для таких реакций контрафобии, которые не считают обязательным осмыслять себя с помощью классового дискурса. Они тем самым в меньшей степени скрыты за аргументацией и лучше просматриваются.

Рассмотреть этот феномен непосредственного и уже не осмысляющего себя теоретически выражения аффекта контрафобии возможно через моральное требование абсолютного неприменения насилия. Со ссылкой на геноцид и завоевательные походы Гитлера отвергается совершенно любое применение военной силы, пусть даже эта политическая интервенция ограничена, этически оправдана и применяется для предотвращения более тяжелых последствий. Все видится в мрачных тонах.

У наблюдателя при виде такого полного отсутствия различий появляется жуткое впечатление, что за этим абсолютным миролюбием скрывается агрессия. Она теряет силу, хотя и в обманчиво искаженном виде, перед контрафобической силой влияния прошлого. Существующее в коллективной памяти, но не проявляющее себя как таковое осуждение действий союзников в войне против Германии маскируется в последующих

поколениях под самое всеобщее из всего всеобщего — под пацифизм *sans phrase*.

Политические культуры с другим, прямо противоположным историческим опытом в отличие от контрафобического сужения политического дискурса в Германии наделены гораздо более широким полем для маневра. Так, и на примере мотива предательства в идеологическую эпоху можно продемонстрировать, насколько глубоко в англо-саксонской традиции располагаются линии политического отступления с опровергнутых позиций. Местная политическая культура и образ мышления предоставляют ренегатам целый мир возможных ориентиров, притом вне поляризирующих и искажающих сужений. Мнимый предатель может свободно, без принуждения и препятствий примкнуть к идеологически агностическому либерализму, связанному с терпимостью, существующей благодаря культуре здравого смысла. В конце концов, его не подгоняет постоянная тревога, что его отход свергнет его в моральную пропасть. Скорее он приведет его обратно в безопасное русло тех западных демократических традиций, с которых он начинал. Не имеющий такой возможности для отступления германский приверженец добрых намерений окажется под впечатлением, что все вокруг заражено худшим из страхов, если только он в пылу самоуверенной переоценки не стилизует себя под прямую противоположность фашизму.

Не всякое поляризирующее сужение политической культуры можно назвать поздней или запоздалой реакцией на недавнее прошлое Германии. Здесь сказываются и другие формы, отложившиеся в травмирующем историческом опыте, — формы мышления, почти теологически настаивающие на необходимом окончательном обосновании. Образы и мотивы нагруженного и инкриминируемого национал-социалистского прошлого, от-

литые в эту и без того проблемную форму, оказываются сдержанными. Эта амальгама из формы и содержания почти неизбежно ведет к реакции контрафобии. Поэтому феномен поляризующего сужения политической культуры в Германии связан с заданными традициями мышления, а также с эффектами переработанных реакций на национал-социализм и его отсроченные последствия.

Не все феномены политической поляризации можно свести лишь к значимому образцу реакции контрафобии, даже если они соответствуют ему по форме. Образцу полярного противопоставления не в последнюю очередь соответствует и непосредственная политическая реальность, которая лежала в основе мировоззренческого дуализма Востока и Запада. Такая поляризация разнонаправленных идеологий нашла выражение в прочной реальности разделения страны. Но и это вызванное, главным образом, внешними причинами противостояние систем двух германских государств получило толкования, ссылающиеся на национал-социалистское прошлое. Как груз вины за эпоху нацизма, так и соответствующее понимание гибели Веймарской республики использовались в качестве легитимирующей отсылки для противоположных интерпретаций немецкой истории. Если коммунистическое руководство ГДР для обоснования своего общества обращалось в первую очередь к ставшему мировоззрением антифашизму КПП и рабочему движению Веймарской республики, то плюралистическая благодаря непрерывности сообщества ФРГ была оснащена сравнительно слабым идеологическим арсеналом.

Кроме того, ГДР как выражению территориализированной и мистифицированной истории КПП и коммунистического сопротивления пригодились и широкое покрывало антифашистской идеологии. Согласно

этому мировосприятию, элиты Федеративной Республики легко можно было уличить в продолжении фашизма. Обвинение в продолжении соучастия не в последнюю очередь основывалось на том обстоятельстве, что бывшим нацистам в ФРГ было очень легко добиться должностей и званий. Антифашистское восприятие, подтвержденное этим эмпирическим доказательством, произвело большое впечатление особенно на формирующие левые силы Западной Германии.

Но за этой очевидностью скрывается огромное заблуждение. Исходившая из ГДР риторика антифашизма ни в коем случае не была настолько интернациональной и оторванной от собственной национальной истории, как это внушалось политическим языком. Риторика антифашизма находится в постнацистской Германии под подозрением в том, что больше способствует освобождению от ответственности за национал-социализм, чем объясняет причины его возникновения. Антифашистское мировосприятие делало возможным бегство от национальной принадлежности под снисходительную защиту историко-философской парадигмы классов и их борьбы. Такая терпимость считалась утешительной, ведь с помощью такого восприятия можно было, рационализируя, возложить на правящие классы как коллективно, так и индивидуально невыносимую ответственность за невообразимые преступления.

Историко-философская классовая парадигма, а также сила толкования кротких социальных наук, рационализировавшая примат общественного, действовали в разделенной Германии (и это во всех отношениях составляет ее слабость) только в отношении мировой политики. Пока оба германских государства были включены в идеологические блоки мировой гражданской войны ценностей — свобода против равенства, этот примат мог спокойно сохранять свою значимость. Напро-

тив, парадигма национального, если к ней вообще обращались, ограничивалась пустой риторикой. К тому же она как инструмент гражданской войны была направлена на отделенного, согласно ценностям, политического противника внутри одной и той же нации. Как ФРГ, так и ГДР могли считать себя исключительно социально сформированными государствами. Действительно драматичная и неразрешимая для немцев после 1945 года дилемма — произошедшее в эпоху фашизма соединение национального с национал-социализмом осталось для немцев ввиду обстоятельств разделения Германии и мира настоящей открытой проблемой самовосприятия. Эта вызванная мировой политикой нейтрализация национального в ФРГ и ГДР поддерживалась соответствующим идеологическому разделению мира доминированием преимущественно социального толкования действительности. Свойственная ему структура дискурса полностью не принимала во внимание национальную специфику и многообразие направляющей практику политической культуры и исторической памяти.

Конец миропорядка, выросшего из мировой гражданской войны ценностей, и свойственной ему нейтрализации национального означали и окончание соответствующего общественному характеру этого противостояния доминирования социально-научной парадигмы и схемы восприятия. Их падение основано на лишь с трудом возводимой десятилетиями внутренней уверенности и распространяет опасение, что по ту сторону абсолютного значения социального появляется угроза худшего из прошлых. Тем самым моральный запрет мышления контрафобически преграждает путь всякой прагматической перспективе по эту сторону новой реальности еще открытого понятия нации.

Нация в Германии — это все еще чистый лист. Мимходом ее идентифицируют с преступлениями прошлого.

Но они совершались главным образом под знаком рейха, народа и расы. Какая часть этнического происхождения или его противоположности — гражданской принадлежности — войдет в определение нации в Германии, зависит от споров и конфликтов сегодняшнего дня. Понятие нации может быть полностью наполнено по западно-универсалистскому образцу частными проявлениями демократических и республиканских традиций. Но точно так же может взять верх и их противоположность — антиуниверсалистский субстанциализм антизападной направленности.

Во всяком случае, новые направления конфликтов вряд ли будут проходить по классическому разделению на левых и правых. Отслоение и возникновение новых партий будет происходить главным образом согласно их позиции по отношению к Западу и его традициям. При этом дела у друзей Запада обстоят гораздо хуже, чем можно предположить. Целая толпа неформальных лидеров, которые во времена холодной войны выступали как воинствующие рыцари Запада и его ценностей, после распада старого миропорядка и объединения Германии за одну ночь поменяли направление. Теперь для них мало значат Запад и его политическая культура в отношении Германии. Они ищут если не третий, то другой путь, отличный от политической культуры Запада.

Понятие Запада в контексте противостояния Восток–Запад не идентично старой, заново претендующей на значимость идентификации с тем же названием. Последняя исторически отличается как от европейского центра, так и от в основном православного Востока. Согласно этой схеме, политическое и культурное место объединенной Германии еще далеко не определено. Более 40 лет интеграции огосударственного общества Федеративной Республики в институты атлантическо-

го сообщества, практически вынужденной противостоянием Востока и Запада, далеко не являются гарантией долгосрочного и свободно избранного участия Германии в плодах западно-атлантической политической культуры.

Интеллектуальные противники Запада выступают громко и красноречиво. Они снова хотят вернуться к линиям развития начала XIX века, теперь уже с более благоприятным исходом. Во всяком случае, коллективная память должна быть избавлена от катастроф XX века и связанной с ними ответственности. То есть они предлагают начать заново, по ту сторону исторических событий. Можно ли дать достойный отпор этому отрицанию истории, зависит не в последнюю очередь от того, удастся ли эффективно устранить многолетние контрафобические блокады политики в Германии.

ПАМЯТЬ И ИНСТИТУТЫ. О ДВУХ ЭТНОСАХ

Распространенная ошибка: коллективная принадлежность противоположна планам индивидуальности и универсальности. Совсем наоборот, даже самому универсальному обязательству требуется для своей реализации ограничительное присуждение. Так, благонамеренный человек приобретает полную правоспособность только как гражданин, так же как человечество получает значимость только как сумма добровольно обязанных этически коллективов, то есть субъектов права.

Проведение границ служит обычно политическому обозначению территорий общего правового убеждения. В свою очередь общее правовое убеждение предполагает общую память. Наконец, коллективная память является предпосылкой общих убеждений и тем самым создает условия для политического института. Если рассмотреть это внимательно и освободить от всего этнического шовинизма, то получится, что такая относительная принадлежность означает *этнос*, коллективную память.

На каких атрибутах принадлежности основывается этнос? Какие компоненты исторического воспоминания, какие исторические эпохи обуславливают самоопределение и учитываются коллективным «Мы», передаваемым из поколения в поколение? Идет ли здесь речь, главным образом, об историях и истории завоевания и обретения политических институтов и правовых форм, которые закладывают основы коллективной памяти, то есть обращенных ко всему человечеству универсальных ценностей? Или коллективная

память опирается главным образом на такие компоненты самоидентификации и принадлежности, которые покоятся на уже недоступных временах, на закрытых эпохах прошлого? Эти атрибуты принадлежности осмысляются прежде всего через происхождение, так сказать, *этнический этнос*.

В основе этнического этноса лежит крайне ограниченно скомпонованная коллективная память. Она стремится сопротивляться всему, что может потребовать ее изменения. Поэтому она усиливает константы, пусть даже фиктивные. Такая память вращается вокруг атрибутов происхождения и неизбежно перекрывает всякий доступ к ним для тех, кто стремится попасть в такое сообщество. Из-за его этнических атрибутов для них остается каинова печать чуждости.

Этому узкому представлению о принадлежности противостоят сообщества, чья коллективная память вьется вокруг институтов. Содержание их коллективной памяти подчиняется главным образом силе современности — политическому принципу ежедневного плебисцита. Тем самым она, несмотря на все границы, открывается наружу, открывается для тех, кто стремится к активному и пассивному участию на основе универсальных принципов свободы и равенства. Коллективная память, основанная всегда партикулярно, присутствует и в сообществах с явными притязаниями на всеобщность и добровольным самообязыванием в пользу всего человечества, таких как Соединенные Штаты и Франция. Их «Мы» материализует не что иное, как отложившиеся в коллективной памяти исторические обстоятельства конкретной в каждом случае, происходившей во времени и пространстве реализации идеи всеобщего, то есть прав человека и гражданина. Такое соединение всеобщего и частного вызывает лишь мнимый парадокс, ведь в конце концов реализация всеобщего может про-

исходить только в конкретных, то есть исторических условиях — во времени и пространстве. Следовательно, всеобщее тоже нуждается в закреплении в партикулярной памяти. Всеобщей памяти самой по себе и для себя не существует.

В принципе сообщества отличаются друг от друга тем, что они основываются на своей, в каждом случае по-разному организованной коллективной памяти. Мы отличаем память, базирующуюся главным образом на специфическом коллективном опыте завоевания и сохранения политических ценностей и институтов универсального характера, от такой, которой свойствен исключительно партикулярный опыт. Первая основывается на *политическом* этносе, вторая — на *этническом*. Памяти, основанной на всеобщих ценностях, в целом соответствует, несмотря на неизбежно существующие границы, принцип открытости, а второй памяти — принцип замкнутости. В этом типологически заостренном различии речь идет о той разнице, которая отличает немецкую традицию активного и пассивного участия в сообществе от традиций стран западного ядра. Трагизм национального самосознания немцев с самого начала основывался на том, что законный отпор нападению Наполеона шел рука об руку с отказом от его универсального, общечеловеческого политического содержания.

То обстоятельство, что всеобщее приходит под маской чужого и при унижительных обстоятельствах, определило впредь построение коллективной памяти в Германии. Оно повлияло на введение демократии и республики в 1918 году и на принятие Основного закона ФРГ. Его крестными отцами опять же были союзники, то есть Запад как ансамбль коллективов, память которых базируется на всеобщем, а тем самым на памяти

института и политических ценностей. И несмотря на успешную политическую интеграцию в западное общество и принятие его институтов, существенные компоненты коллективной памяти немцев остаются узко замкнутыми: коллективная память в этой стране все еще привязана к национал-социализму — и как сознание вины, и как защитная реакция. Так или иначе, коллективная память без внешнего участия приклеилась к этому прошлому и определяет эту парадоксально передаваемую принадлежность. Вызванная национал-социализмом расистски этнифицированная обусловленность принадлежности к коллективу немцев устанавливает отныне в качестве морально обоснованного комплекса вины значимый признак субстанциальной принадлежности к этническому этносу как коллективную память. Так, сознательный исторический возврат к комплексу вины за национал-социализм становится несутей опорой коллективного «Мы».

Варианты реакции организованного таким образом сознания настолько же разнообразны, насколько и противоречивы — от акций отвержения вины как символического эпилога в праворадикальных актах насилия до контрафобических форм доброжелательности, которые скорее демонстрируют близость к избегаемому объекту отторжения, чем соответствуют его мнимой противоположности. Целые области политической культуры заражены реакцией контрафобии. Она опровергает все уверения в нормальности. В целом все эти феномены представляют собой драматическое продление прошлого в коллективной памяти, хотя и в виде доброжелательных искажений. Выросший из национал-социализма тем самым расистски суженный этнос этнических немцев проявляет свою значимость почти неизбежно в отказе от этого справедливо инкриминируемого, отягчен-

ного воспоминаниями прошлого и тем самым остается у него в плену.

Однако последствия такого сужения коллективной памяти парадоксальны: несмотря на благие намерения, они продолжают и дальше передавать сужение памяти, этнический этнос. Так, например, несмотря на фон памяти о национал-социалистском прошлом, громко требуют чужого активного и пассивного участия в сообществе, но эта готовность скорее говорит о собственной моральной чувствительности, чем о реальной открытости сообщества для чужих. Остается неразрешимая дилемма: с одной стороны, необходимо сохранить воспоминание о преступлениях национал-социализма, сделать их центральным компонентом коллективной памяти; а с другой стороны, необходимо признать, что такое содержание памяти приводит к этническому сужению этноса. Ни одного гражданина Германии этнически не немецкого происхождения нельзя, конечно, обязать участвовать в коллективной памяти, которая вплетена в контекст исторических воспоминаний, ни к чему его не обязывающих. Может ли он на подобных основаниях чувствовать себя привязанным к коллективному «Мы»?

Сделать отсюда заключение, что надо все забыть и ни о чем не вспоминать, значило бы довести понимание и познание *ad absurdum*. Однако остается требование открыть коллективную память. Такое открытие привело бы к глубоким разрезам в своем самовосприятии, глубоким изменениям в памяти этнических немцев, а именно к превращению этнических немцев в немецких граждан. То, что производит впечатление простого семантического, в лучшем случае правового изменения, на самом деле затрагивает полюбившееся (хотя и любовью, похожей на ненависть) глубинные

слои коллективной памяти. Ведь тем самым желают не улучшения чужого, а преобразования собственной памяти, коллективной памяти этнических немцев, в направлении самовосприятия, все более удовлетворяющего требованиям патриотизма институтов и отдающего предпочтение современной политической воле как ежедневному плебисциту перед легитимизирующим содержанием прошлого, отягчающего память живущих.

Возможно ли провести такое необходимое изменение с помощью определенной политической воли? Сопротивление коллективной памяти огромно и обычно требует повторения, пусть даже символического. Понастоящему закрепиться может только завоеванный институт немецкого гражданина. Принятие и закрепление испытанных, пережитых универсальных категорий в коллективную память немцев, вне бессильного патриотизма, то есть превращение коллективной памяти этноса в память сообщества, открытого для самовосприятия волевой нации, ни в коем случае не происходит само собой. Вряд ли истекло спасенное время вестернизированной Федеративной Республики, в свете возвращения Германии как национального государства появились тенденции, вряд ли способные лишить коллективную память ее этнифицированного основания. Превращение ФРГ в Германию повлекло возвращение к национальной истории, которое, по всей видимости, приведет к спаду динамики, подпитываемой еще из старых арсеналов Федеративной Республики и сохраняющейся по сей день. Благодаря коллективному самовосприятию и в период ненадежности изменение затронет те компоненты памяти, которые застыли в ФРГ за 40 лет германского раскола не в последнюю очередь благодаря Западу и его универсальным традициям.

Будущее покажет, укоренились ли институты и ориентиры Федеративной Республики в коллективной памяти и не покрылись ли уже патиной. Иначе робкие попытки превратить этнос этнических немцев в этнос немецких граждан останутся в плену у того иного пути, который в прошлом обладал бесспорным влиянием всевозрастающей тенденции к перестраховке в контексте памяти нации, самоопределяющейся главным образом по этническому принципу.

УПЛОТНИВШЕЕСЯ ВРЕМЯ. МАССОВОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ И СТРУКТУРА ЕВРЕЙСКОГО ПОВЕСТВОВАНИЯ

Израиль не находится в Европе, но относится к ней. Такая формулировка указывает на внутренний раскол: арсенал воспоминаний, иллюстрации к пережитой действительности, затрагивает главным образом время и место по ту сторону существующего временного и пространственного континуума. Такое совмещение настоящего и прошлого проблематично. Оно ждет своего спасительного преодоления измененным историческим сознанием.

Бессмысленно напоминать об историчности понятий. Берущий начало в XIX веке сионизм также претерпевает постоянные изменения. Постепенно лишившись своего обязательного политического значения, он все больше сводится в постсионистском обществе Израиля к остаткам, которые всегда обнаруживали его настоящее значение: оправданный исторический мотив крайне проблемного соотношения времени и пространства — того самого обременительного положения, что Израиль относится к Европе, но не находится в ней.

Не только еврейская историография отличается преимущественно телеологической логикой дискурса. Возможно, этим она обязана истории как таковой, ведь ее происхождение находится в контексте секуляризации древнего горизонта ожиданий истории спасения. Уже одна только задача рассказать *еврейскую* историю, а не историю *евреев* указывает на глубинное предеше-

ние прежде всего телеологического характера. Не осталась в стороне от этого и современная еврейская историография. Наоборот, несмотря на или как раз благодаря своей ориентации на земную жизнь — легитимацию еврейского сообщества Израиль, относящегося к Европе, но не находящегося в ней, историография склоняется к сионизирующему и деуниверсализирующему восприятию истории евреев и суженной интерпретации еврейской истории. Это находит свое выражение главным образом в повышенной каузализации исторических процессов, их доведении до конечной цели, выявлении необходимостей и связанным с этим презрением к случайностям.

Но внимание — душа не лжет! Структуры исторического дискурса настолько же менее произвольны, насколько они являются результатом услужливой манипуляции. Сознание, даже якобы признанное ошибочным, является выражением специфического исторического опыта, остающегося в коллективной памяти как реальность. Порицать такое сознание как очевидно ошибочное так же бесполезно, как лаять на луну. Скорее следует серьезно отнестись к историческим засечкам в коллективной памяти как конденсату пережитой реальности и расшифровать их.

Со всей возможной краткостью хочу здесь остановиться на *одном* аспекте ошибочной исторической каузализации: зафиксированном в надысторической метафоре Шоа уничтожении европейских евреев нацистами и его иллюстрации с помощью ранее отложившегося в памяти исторического опыта — в основном образов традиционного антисемитизма и национального вопроса на востоке Центральной Европы в межвоенный период 1919–1939 годов.

Начнем с центральной предпосылки выдвигаемого тезиса: массовое уничтожение европейских евреев

имеет свою *статистику*, но *не* имеет *повествования*. Если постоянные ссылки на особый бюрократический и индустриальный характер массового уничтожения не были просто риторической фигурой для обозначения возросшего зла, то они обретают смысл в том, что шаблонная многомиллионная штамповка жизней в одинаковую гибельную судьбу отбирает у события в сознании потомков всякую повествовательную структуру. Абстрактное, статистически составленное умножение одинаково повторяющейся смерти — бюрократическое и индустриальное, причем в очень короткий, будто спрессованный срок (1941–1944), лишает произошедшее соответствующего повествования, которого требует сознание.

Бюрократия и индустрия сделали возможным учет и единообразное уничтожение такого количества людей за такое короткое время — предельное соотношение времени и числа (впрочем, осуществленное преступниками за пределами обыкновенных рамок самосохранения). Это уничтожение вызывает в сознании странный и одновременно вполне понятный феномен, который я называю «уплотнившееся время». Уплотнившееся время — это значит, что из-за разрушения повествовательной структуры (статистика вместо повествования) событие как таковое уже адекватно не может быть описано (оставим в стороне кажущиеся тривиальными объективные процессы). Скорее из-за отсутствия повествовательной структуры оно распространяется на всю историю и все истории, для которых характерно систематическое повествование. Сюда относятся в первую очередь такие истории, которые хотя и находятся в контексте этого крупного события, но не являются для него существенными. Так, история восстания в варшавском гетто занимает в коллективной памяти место массового уничтожения не только благодаря своему героическому

топосу, но прежде всего из-за наличия у этой истории эпической *структуры повествования*.

Важнее, чем эпическое иллюстрирование административно-индустриального уничтожения евреев, представляется соответствующий историческому сознанию феномен линейной каузализации еврейской истории. По форме повествования речь здесь идет о подтексте, записанном в обратном направлении и вводящем в Шоа. Это не выражение манипуляции, а почти неизбежное выражение феномена, названного *затор времени*. Из-за этой значимой нехватки повествовательной структуры и иллюстраций далеко отстоящие во времени эпохи и процессы привлекаются для каузального объяснения события, они как бы заново соединяются хронологически. Предыстория интерпретируется так, что ужас вписывается в почти неизбежное, направленное к конечной цели национальное повествование. Его форму использует и историография.

Основополагающим в конструкции национального повествования является соединение кажущегося абстрактным массового уничтожения с элементами пригодных для истории иллюстраций, взятых в основном из реальности польско-еврейской жизни предвоенного времени. Такой выбор ни в коем случае не произволен. В конце концов, большое количество европейских евреев жили в Польше; к тому же Польша была той из подвергшихся военному нападению Германии стран, в которой происходило уничтожение европейских евреев. Из-за такого местоположения факт уничтожения перемещается в историю и повествовательную структуру евреев Польши. Эта история превращается в историю более традиционного антисемитизма, в первую очередь в историю национального конфликта, свирепствовавшего с 1918 года. Хотя Польша в период с 1939 по 1945 год была одной из стран, атакованных и эксплуатируемых

Германией, ее история все же описывается в национальном еврейском повествовании как история коллаборационизма; только так административно-индустриальное уничтожение немцами европейских евреев может быть описано в виде истории традиционного антисемитизма — абстракция иллюстрируется с помощью национального повествования.

Привлеченные для этой цели образы сами по себе не выдуманы. Но их расстановка и каузализация являются искусственной конструкцией. Неправильно было бы предположить, что настоящую историю как мнимую реальную историю («как это было на самом деле») можно легко отделить от отражений сознания. То, что обыкновенно стремится приобрести значимость, в экстремальном случае и ввиду массового уничтожения оказывается едва преодолимым. Ввиду абстрактного характера этих процессов тяжело избежать психического притяжения национального повествования.

Сионистское повествование или, лучше сказать, повествование различных вариантов национального самовосприятия евреев на востоке Центральной Европы формируется в межвоенный период на фоне классического европейского национального вопроса и проблемы национальных меньшинств. Крушение династических многонациональных империй, проведение в жизнь принципов национального суверенитета, демократии и власти большинства — все это начиная с 1918 года подвергает новые и расширившиеся сообщества драматичному испытанию: претендуя на название национального государства, они на самом деле были многонациональными. В одном только польском национальном государстве жили наравне с этническими поляками и другие этнические группы — украинцы, евреи, белорусы, немцы, литовцы. Они составляли более 35 % от общей численности населения. Парижская мирная конференция

в качестве условия независимости или расширения территории этих государств выдвинула требование, чтобы они включили в свои конституции оговорки, гарантирующие защиту прав национальных меньшинств. Страны в свою очередь увидели в этих обязательствах унижительное ограничение суверенитета. Этнические поляки ненавидели защиту прав национальных меньшинств как «маленький Версаль» и приложили все усилия, чтобы уклониться от выполнения этой обязанности.

Ответственными за эту интернациональную опеку объявили евреев. Действительно, именно еврейские организации, в основном из США, выступили в Париже за введение всеобщей защиты прав национальных меньшинств, исходя из очевидных потребностей защиты евреев как классического меньшинства, вновь ставших актуальными после погромов, сопровождавших обретение Польшей независимости в 1918 году. С другой стороны, с точки зрения США, защита прав национальных меньшинств (вид гуманитарной интервенции в многонациональную Европу) рассматривалась и как компенсация за уменьшение возможностей иммиграции в Америку.

Условия жизни меньшинств в многонациональных государствах ухудшались на глазах. Сокращение мирового рынка привело к ухудшению экономического положения не только в Польше. В первую очередь мировой аграрный кризис способствовал тому, что сообщества парламентской демократии на востоке Центральной Европы все больше превращались в авторитарные и диктаторские режимы. И пострадала от этого не только защита прав меньшинств, требующая наличия демократической политической среды. Наслоение национального вопроса на аграрный и отложенная по причине полонизации украинцев и белорусов аграрная реформа в Восточной Польше привели к вспышке этнических конфликтов между польским государством и его погра-

ничными меньшинствами. В случае с украинцами они вылились в настоящее вооруженное противостояние. С другой стороны, растущий поток этнических поляков хлынул из деревни в города, где столкнулся с местным еврейским населением, сконцентрированным в городских центрах.

Кроме подавления и полонизации национальных меньшинств, проживающих в основном в приграничных районах (а это с самого начала привело Польшу к конфликту с соседями, а позже в немалой степени послужило причиной крушения системы коллективной безопасности в Европе), польские правительства стремились уменьшить численность еврейского населения с помощью эмиграции. Ходила поговорка, что в Польше на миллион евреев больше, чем нужно. А поскольку двери в классическую страну иммигрантов XIX века — США — оказались фактически закрыты из-за драконовских ограничений, Польша стала искать альтернативы. Внешнеполитическая близость со своим союзником Францией в 1920-е годы позволила правительству Грабского рассматривать проект «Мадагаскар». К этому проекту в конце 1930-х годов много раз возвращалось открыто антисемитское правительство полковников. Даже в разгар Второй мировой войны базировавшееся в Лондоне польское правительство в изгнании было занято планами создания резервации для своих еврейских граждан: после войны польские евреи должны были поселиться в районе Одессы.

Вообще близость с национал-социалистской Германией в 1930-е годы была явной. Немецко-польский пакт о ненападении 1934 года позволил Польше даже формально отказаться от защиты прав национальных меньшинств и тем самым вплоть до возможного выхода дистанцироваться от Лиги наций. В 1935 году Геббельс был приглашен в Варшавский университет, чтобы в при-

сутствии видных деятелей польского правительства расхваливать антисемитские мероприятия в Германии.

Проект «Палестина» казался Польше наиболее привлекательным, что объясняется самой природой предприятия. Вот только переселение происходило, на взгляд польских официальных лиц, слишком медленно, и участвовало в нем слишком мало евреев. И это при том, что польско-еврейское переселение намного превосходило переселение немецких евреев в Палестину после 1933 года, для коллективной памяти иконоборческого и связанного с Германией. Делу помогли. Поддержав воинствующих сионистов-ревизионистов, польские чиновники надеялись пробить брешь для массовой иммиграции евреев в Палестину. Интересные связи обнаруживает обстоятельство, что забастовка арабов в 1935 году и последовавшее за ней восстание начались в гавани Яффы после обнаружения груза польского оружия.

В какой степени национальное еврейское восприятие в 1930-е годы (по крайней мере, до 1938 года) находилось в тени событий на востоке Центральной Европы, становится ясно уже из того, что высказанный Жаботинским в середине 1930-х годов призыв эвакуировать евреев, чтобы спасти их от катастрофы, отнесли скорее на счет евреев Польши и Румынии, а не Германии. После 1945 года это воспринимается по-другому из-за произошедшего в сознании и реальности слияния исторического времени и пространства.

Оба места действия — немецкое национал-социалистическое и польско-еврейское — переходят друг в друга. Историческая символика и реальная история порождают толкования. Как определенные события подпитывают телеологическую структуру повествования, даже ломают хронологию, показывает комплекс событий, периферийный для всей истории, но центральный

для иллюстрирования — «Хрустальная ночь» и сопутствующие ей политические обстоятельства.

Сама история прекрасно известна, хотя и недостаточно объяснена. 7 ноября 1938 года Гершель Гриншпан стрелял в сотрудника немецкого посольства фон Рата и смертельно его ранил. На следующий день Геббельс, смещенный на периферию национал-социалистской иерархии, с согласия Гитлера вызвал по всей стране волну погромов, которая считается качественным поворотом в дискриминационных мероприятиях национал-социалистов против евреев Германии — то самое «9 ноября». Начиная с этого события взгляд историка направлен на дальнейшую эскалацию, вплоть до уничтожения. Он находится под впечатлением негативной, свойственной прежде всего национальному повествованию телеологии. Но при ближайшем рассмотрении политических обстоятельств покушения взгляд поворачивается в противоположном направлении, в направлении его предыстории, а тем самым в другое историческое пространство, в соответствии с самовосприятием и жизнеощущением современников и будущих жертв.

Гершель Гриншпан не был немецким евреем, скорее, евреем польского происхождения. Его родители испытали страдания и унижение, когда были изгнаны 24 октября вместе с другими польскими евреями из Германии в Польшу, в город Збоншинь. На самом деле сложно предположить, что немецкий еврей изберет в качестве жертвы для своей мести немецкого чиновника. Не считая того, что он подверг бы немалой опасности еврейское сообщество, такое действие вряд ли было бы совместимо с тогдашним немецко-еврейским самовосприятием. У немецких евреев была другая история и другое представление о себе, чем у евреев Польши, скорее считавших себя полноценной национальностью.

Кроме того, повествование немецкого еврейства было другим, и оно также отложилось в коллективной памяти евреев после катастрофы и организовано по польско-еврейским нормам.

Показательным для доминирования еврейско-польской памяти в конструкции господствующего еврейского повествования является общее мнение, что немецкие евреи после прихода к власти нацистов были принуждены носить желтую звезду — по аналогии с опытом польских евреев после оккупации Польши нацистской Германией. Наверное, впоследствии в реконструкции оказал свое влияние на хронологическое смещение заголовков «С гордостью носи эту желтую отметину» известной статьи Роберта Вельча, вышедшей в 1933 году в сионистском «Юдише Рундшау». Но все же оставшиеся в Германии евреи должны были пристегнуть желтую звезду только осенью 1941 года. Вообще, история страданий, отпечатавшаяся в их сознании, — это главным образом история лишения гражданских прав и изгнания. История польских евреев — это дополненная традиционным антисемитизмом борьба национальностей, которая с началом нацистской оккупации 1939 года прямо перешла в геттоизацию. Здесь смешиваются польский и немецко-нацистский антисемитизм, первый из которых, согласно нашему тезису, подготовил повествование об уничтожении.

Но вернемся к обстоятельствам истории Гершеля Гриншпана, в чьем лице скрестились немецко-еврейская и польско-еврейская судьбы, будто предвосхищая позднейшее национальное повествование.

Ни в коем случае не снимая ответственности с главных обвиняемых — немецких нацистов, следует взглянуть на непосредственный порядок событий, которые привели к покушению Гриншпана и «Хрустальной ночи», также и в контексте национальной политики

на востоке Центральной Европы. Уже дело Збоншиня в конце октября 1938 года, изгнание польских евреев через немецкую границу в Польшу, следует понимать, учитывая обстоятельства времени, как реакцию на планы Польши фактически лишить гражданства тех польских граждан еврейского происхождения, кто более пяти лет проживал вне территории Польши. Эти польские законы готовились еще с марта 1938 года, со времени «аншлюса» Австрии. Польские власти отодвигали их вступление в силу из-за важного события — эвианской конференции 1938 года.

Мы уйдем слишком далеко, если попробуем проследить намерения польских законодателей в марте и октябре 1938 года. Достаточно лишь упомянуть, что политика ариезации, введенная сразу после аншлюса Австрии, позволила нацистам наложить руку на значительные еврейские состояния, в том числе состояния проживавших в Австрии евреев с польским гражданством. Польша в первую очередь опасалась возможного захвата Германией нефтяных источников в Галиции, так как значительная часть акций нефтяных компаний находилась в руках польских евреев, проживавших в Австрии. Кроме того, Польша воспользовалась случаем освободиться от излишнего, по ее мнению, количества евреев. Когда президент США Рузвельт под давлением либералов назначил конференцию по беженцам в Эвиане на лето того же года, польское правительство сочло необходимым временно отложить вступление в силу закона о паспортах, который фактически был законом о лишении гражданства. Ведь казалось, что эвианская конференция дает антисемитским странам востока Центральной Европы, прежде всего Польше и Румынии, исторический шанс избавиться от большего числа своих евреев. Если бы конференция на самом деле привела к тому,

что различные страны западного полушария открыли бы двери для еврейской иммиграции из Германии и недавно присоединенной Австрии, тогда и они, ввиду действующих по всему миру драконовских иммиграционных законов, тоже ухватились бы за возможность избавиться от своих евреев.

Это тайное ожидание Польши и Румынии не позволило и без того не охваченным энтузиазмом странам иммиграции принять к себе евреев Германии и Австрии. Американские организаторы конференции из-за этого наглого требования даже отказались называть конференцию по беженцам своим именем. Официально была организована не конференция по еврейским беженцам, а как это называлось, по «Political Refugees from Germany and Austria» — «политическим беженцам из Германии и Австрии». Конечно, польские и румынские ожидания не были единственным препятствием для успеха конференции. Их просьбы даже не значились в повестке дня. Но как скрытое требование оно, во всяком случае, присутствовало. После провала конференции Польша ввела свой закон о паспортах с марта. Опередив поляков, в октябре немецкие власти изгнали польских евреев. 7 ноября Гершель Гриншпан отомстил за страдания своих родителей.

Традиционное польско-еврейское противостояние продолжается и после нападения нацистской Германии на Польшу. В 1939–1940 годах, когда евреи были как евреи геттоизированы, но не стали жертвами систематического уничтожения (эта судьба была временно предназначена только польской интеллигенции), с польской стороны стали слышны подозрения, что евреи сблизилась с немцами по аналогии с расстановкой сил в Первой мировой войне и более поздним немецко-еврейским сотрудничеством во время конференции по делам меньшинств в межвоенный период.

Представления о польско-еврейских отношениях довоенного времени пронизывают фазу оккупации и уничтожения, осуществленного не поляками, а немецкими нацистами. Нехватка конкретных иллюстраций этого абстрактного преступления приводит к тому, что для толкования этих ужасных лет привлекаются в качестве предыстории реальные отношения поляков и евреев, тем более что традиционный религиозно мотивированный антисемитизм поляков прошел и через все военное время. Этот фон превращает историю Польши в еврейской памяти почти в историю коллаборационизма. Это восприятие усиливается тем, что выжившие евреи в Польше сразу после войны вынуждены были пережить страдания, по своей форме непосредственно примыкающие к предвоенному опыту. Речь идет о послевоенных погромах в Польше, в первую очередь о погроме в Кельце летом 1946 года, вызвавшем массовое бегство евреев на Запад, то есть в оккупированные западными союзниками зоны Германии и Австрии.

Для еврейской памяти в центре внимания, конечно, находится массовое уничтожение в 1941–1944 годах. Но с точки зрения исторической систематики и повествования, оно входит в контекст национальных конфликтов межвоенного времени. Такое систематическое присоединение к имеющей продолжение предыстории может показаться проблемным, но достижение цели польского национализма — этнической гомогенизации страны — оказалось облегчено уничтожением польских евреев и стало возможным после Ялты благодаря смещению страны на Запад. С национальной польской точки зрения, изгнание немцев из бывших восточных районов и погром в Кельце связаны между собой.

Знаю, спор об исторической обусловленности создания государства Израиль настолько же бесконечен, насколько и бессмыслен. Но бегство сотен тысяч евреев из

Европы, стоящей между национализмом и национальным вопросом (вот, собственно, и связь с непрерывностью предвоенного времени), видимо, стало решающим толчком для основания государства Израиль.

С началом израильско-палестинского мира и израильская память сможет избавиться от необходимости гомогенного национального повествования. Станет понятнее, что можно исходить не только из *одной* коллективной памяти. Напротив, существует много разновидностей еврейской памяти. Помочь контингенции и множественности исторического опыта добиться своего права — это вполне освободительная задача. Это значит порвать и с тайной телеологией, и структурами национальной целеустремленности после всех нерешительных ревизий, все еще свойственных историческому дискурсу. Кроме того, такое изменение предвещает ожидаемый конец идеологической истории, как и ее мнимой противоположности, с тем видом связи, который выступает в качестве критика, но на самом деле представляет собой не что иное, как ее негативное отражение.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Deutschland, die Juden und Europa // Babylon. 1990. Heft 7. S. 96–104.
2. Den Westen verstehen // Kursbuch. 1991. № 104. S. 145–153.
3. Nationalsozialismus und Stanilismus // Babylon. 1991. Heft 10/11. S. 110–124, überarbeitet und erweitert.
4. Antifaschistische Weltanschauung // Erinnerung / B. Moltmann u. a. (Hg.). Frankfurt am Main, 1993. S. 21–30.
5. Kontraphobisch // Kursbuch. 1994. № 116. S. 109–118.
6. Gedächtnis und Institution // Merkur. 1994. Heft 9/10. S. 943–945.
7. Gestaute Zeit. Originalbeitrag.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	5
Германия, евреи и Европа. О прогрессирующей победе будущего над прошлым	7
Понять Запад. Война в Персидском заливе как немецкая поучительная пьеса	21
Национал-социализм и сталинизм. О памяти, произволе, труде и смерти	37
Антифашистское мировоззрение. Некролог.	61
Контрафобия. О сужении политики	75
Память и институты. О двух этносах	88
Уплотнившееся время. Массовое уничтожение и структура еврейского повествования.	95
Использованная литература	109

Научное издание

Динер Дан

Круговороты
Национал-социализм и память

Редактор *О. Ю. Румянцева*
Художественный редактор *А. К. Сорокин*
Художественное оформление *А. Ю. Никулин*
Технический редактор *М. М. Ветрова*
Выпускающий редактор *И. В. Киселева*
Компьютерная верстка *С. А. Хромцев*
Корректор *Е. Л. Бородина*

ЛР №066009 от 22.07.1998. Подписано в печать 16.02.2010.
Формат 84×108/32. Бумага офсетная № 1. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 5,8. Тираж 1000 экз. Заказ 3828

Издательство «Российская политическая энциклопедия»
(РОССПЭН)

117393 Москва, ул. Профсоюзная, д. 82
Тел.: 334-81-87 (дирекция);
Тел./Факс: 334-82-42 (отдел реализации)

Отпечатано с готовых файлов заказчика в ОАО «ИПК
«Ульяновский Дом печати». 432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14



РОССТӘН